



Мастера
израильской прозы



Шамай Голан

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАЖА

Шамай Голан

Последняя стража

«Книга-Сэфер»

Голан Ш.

Последняя стража / Ш. Голан — «Книга-Сэфер»,

ISBN 965-7288-12-6

У Катастрофы множество ликов. Этот – один из них. «Последняя стража» не роман-странствие, не роман приключений. Роман этот – жесткое и жестокое описание внешних сил, раздавливающих героя, а вовсе не мир, рожденный воображением автора. Ему лишь остается найти свой особый взгляд на описываемые события. Великие и страшные события проходят над миром. И во всем этом – так или иначе, больше или меньше, – принимает участие маленький еврейский мальчик, вышвырнутый из теплого родительского дома в Польшу на смертельный холод бесконечных дорог эвакуации и бегства, несчастий, бед и потерь – маленький беглец, уцелевший в реке смерти, в которой навеки остались его отец и мать. Сирота, никогда не забывающий голос, долетевший однажды из черной «тарелки», голос Москвы, голос его соплеменника Юрия Левитана: «Война окончена».

ISBN 965-7288-12-6

© Голан Ш.
© Книга-Сэфер

Содержание

Неумирающий росток над пропастью...	5
Часть первая	7
Глава первая	7
1	7
2	11
3	12
4	15
Глава вторая	21
1	21
2	22
3	23
4	24
Глава третья	26
1	26
2	28
3	31
Глава четвертая	37
1	37
2	41
3	45
Глава пятая	49
1	49
2	55
Глава шестая	59
1	59
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Шамай Голан

Последняя стража

*Моим родным, погибшим в Катастрофе:
отцу Шломо Гольдштейну
матери Симе Гольдмахер
любимой сестренке Шейнделе
бабушке Дворе Гольдмахер*

*Герои романа являются литературными персонажами и любые
совпадения с реальными лицами случайны*

Неумирающий росток над пропастью...

В романе Шама Голана «Последняя стража» речь идет о Катастрофе. Но вы не найдете здесь описания поездов, везущих обреченных на гибель евреев в лагеря смерти или стоящих у входа в крематорий. События романа вершатся на дорогах скитаний евреев, пытающихся сохранить человеческий облик, на лесоповале в морозных провалах Сибири, на тяжелых работах мотыгой недалеко от Ташкента... Нет здесь грохота боев, жестокости солдафонов. Картины убийств и крови, обагряющей землю, далеки от нас. Но мы все время не выходим из зоны тихой смерти, долгой агонии страданий от голода, холода, инфекций, безмолвного угасания жизни. У Катастрофы множество ликов.

Этот – один из них.

Героя романа Война застает ребенком, и он мужает к концу ее. Автор рисует, главным образом, внутренний мир мальчика, зеркало его души, в котором отражаются внешние события. Сами по себе они не столь важны. Важно отношение мальчика к ним, размышления его о войне, смерти, о спорах родителей по поводу религии и веры. Время в романе развивается многопланово и неоднозначно, хотя хронология выдерживается, но мера развития и осознания событий определяется силой эмоций и ограниченным числом близких мальчику людей, уходящих один за другим из жизни.

Надо признать нелегким и удивительным умение автора освободиться от своего взрослого «я» и целиком, не давая себе никаких поблажек, сосредоточиться на мире подростка, который еще не в силах понять то, что происходит вокруг, толкует мир по своему детскому разумению. С привлечением снов, мечтаний, юношеской тоски и нарождающихся страстей, ассоциаций из прочитанных книг и обрывков знаний из времен целостного, а ныне разрушенного мира, мира, в который мальчик хочет верить, надеяться на него и любить. Но он не находит этого мира, а настоящее проходит в шоке и агонии: умирает бабушка, за ней уходит младшая сестренка, отец и мать. Он ищет родственную душу в облике девочки в сиротском доме, девушки в больнице, в учительнице. Но образы эти исчезают и не хотят иметь дела с мальчиком по имени Хаймек.

При всех страданиях, герой романа является цельной натурой, действующей и ведущей себя по законам своего внутреннего мира. Он мечтатель и визионер. Не похож он на многих окружающих его подростков, вертящихся на рынке, научившихся воровать с абсолютно невинным видом. «Странный ты малый, – говорит ему русский мальчик Ваня. – Очень уж наивный... Жаль тебя, мог жить здесь неплохо». Хаймек не принимает окружающее как сухой факт, а видит в нем некие символы, в которых находит защиту и спасение. Эмоционально его отношение к столу на четырех ножках, к кости позвоночника, извлеченной из груди, к золотому зубу матери или апельсиновому раскидистому дереву, изображенному на марке. Такие душевные

движения даже война не в силах сломить. Но горько изрекает в минуту глубокого разочарования души: «Нет в мире любви к сиротам».

Еще одно отделяет его от окружающих сирот: иудейство, скрытое в его мыслях, сказания и деяния из отчего дома, память праздников и историй Священного Писания.

Последние страницы книги несут некую искру оптимизма – репатриацию в Израиль. Это излечит его от ран Катастрофы, вернет ему дом и стершийся человеческий облик. Нет здесь попытки сконструировать душу подростка в условиях войны. Главное, здесь искренность автора в создании героя, мальчика 14 лет, репатриировавшегося в Израиль после Второй мировой войны.

«Последняя стража» не роман-странствие, не роман приключений в стиле модерн. Роман этот – жесткое и жестокое описание внешних сил, раздавливающих героя, а вовсе не мир, рожденный воображением автора. Ему лишь остается найти свой особый взгляд на описываемые события. Мир мальчика Хаймека предстоит перед читателем во всей своей мощи, описан сдержанно, без особого педалирования, что, несомненно, является преимуществом романа.

Великие и страшные события проходят над миром. И во всем этом – так или иначе, больше или меньше, – принимает участие маленький еврейский мальчик, вышвырнутый из теплого родительского дома в Польшу на смертельный холод бесконечных дорог эвакуации и бегства, несчастий, бед и потерь – маленький беглец, уцелевший в реке смерти, в которой навеки остались его отец и мать. Сирота, насельник детского дома в Ташкенте для таких же несчастных, с трудом вспоминающий десятилетия спустя сибирские бараки для «спецпереселенцев», объединенных вшами беженцев на станционном перроне Ташкента, и никогда не забывающий голос, долетевший однажды из черной «тарелки», голос Москвы, голос его соплеменника Юрия Левитана: «Война окончена».

Эфраим Баух

Часть первая Сапоги в луже

Глава первая

1

Хаймек стоял у окна. За окном была улица. По улице шли солдаты. Они шли беспорядочной толпой, пропыленные, грязные, в изодранной форме. Под ногами у солдат валялись «конфедератки», но никто не наклонился, чтобы поднять их. Покрытые грязью сапоги равнодушно наступали на них и шли дальше.

Польская армия отступала. Подобно волне, солдаты накатывали на площадь, словно соревнуясь в беге. Иногда то один, то другой оборачивались на мгновение быстрым, стремительным движением, но уже в следующую секунду новая волна подхватывала их и относила в общую толпу. Один такой солдат остановился прямо под окном, у которого стоял мальчик. Через лоб у солдата шла пропотевшая, с пятнами крови повязка, лицо обросло темной и редкой щетиной. Он поправил повязку, и Хаймек увидел, что глаза солдата закрыты. Мальчику показалось даже, что солдат спал – вот так, на ходу. Но нет – веки, словно налитые свинцом, поднялись. Снова упали и опять приоткрылись. Солдат тряс головой, словно вынырнул из-под воды. Через мгновение очередная волна унесла его.

Солнце стояло высоко над отступающей армией. Мальчик видел, как шевелятся губы солдат, шепчущих одно единственное слово, повторяемое тысячами пересохших губ – «Воды»... это слово парило над разбитым войском, подобно безжалостному солнцу. Стояло, как пыль. И шло, вместе с солдатами. Тащилось по пятам за толпами потерпевших поражение. Но его, этого слова, никто не слышал.

Или все-таки слышал? Ядвига, жена дворника. Она засемила в дом и вынесла ведро с водой, сунув его в первые же протянувшиеся руки. Как живое существо, ведро двинулось по рядам. Драгоценная жидкость выплескивалась на дорогу. Ее черпали ладонями, ее пили через край, кто-то попытался опустить в ведро голову. На глазах у дворничихи ее ведро уплывало от нее все дальше и дальше, пока не исчезло совсем. Еще какое-то время старая Ядвига стояла, не двигаясь, губы ее беззвучно шевелились. Потом она окинула взглядом как-то враз опустевшую площадь и побрела в дом.

Теперь над миром воцарилась тишина. Та же, что всегда была здесь, до того, как пришли солдаты. И которая будет еще долго, после них. Казалось, весь городок – с его домами под красными черепичными крышами и церковью в конце улицы, с крестами над церковной кровлей, со зданием суда, украшавшем дальний конец площади и с людьми, затаившими дыхание в своих домах за железными затворами, все замерли в ожидании чего-то. Но чего...

Вся семья Хаймека собралась в большой комнате. Стоя у окна, мальчик рассматривает их, словно видит впервые. Вот отец. Он сидит в дальнем конце стола в торце, ломая пальцы, и мальчик слышит, как пальцы хрустят. За все это время отец не произнес ни слова. Лишь иногда он вздыхает, и тогда вместе со вздохом до мальчика долетают обращенные к небу слова молитвы, почти неслышные здесь, на земле. Мать держит на руках Ханночку. Молча стоит, прислонившись к стенке. И маленькая Ханночка у нее на руках тоже молчит.

А мальчик переводит взгляд на бабушку. Бабушка лежит в кровати. На ее морщинистом лице живы только глаза, которые непрерывно движутся то в одну, то в другую сторону. Маль-

чику очень хочется сейчас быть поближе к отцу, и он уже собрался, было попросить у него разрешения присесть с ним рядом, но что-то удерживает его и он остается стоять там, где стоял – у окна с наклеенными крест-накрест полосками бумаги.

Скосив глаза, он смотрит на здание суда. Обычно там весь день торчал коротышка-полицейский в синем мундире с дубинкой в руках, но сейчас не было ни его, ни дубинки. Площадь была абсолютно пуста. И это была та самая площадь в центре городка, которая еще несколько дней тому назад буквально кишела сотнями людей, разговаривала, кричала, шумела на сотни голосов, выставляя на продажу весь мыслимый и немыслимый свой товар.

Сейчас над нею царствовала напряженная тишина.

В последний раз метлы прошли по ее булыжникам вчера – острые глаза мальчика разглядели большую кучу свежего конского навоза. Над огромной лепешкой уже роились тучи навозных мух, сверкая прозеленью в свете холодных осенних лучей солнца. Огромный кот с черными пятнами на боках, осторожно ступая, передвигался мягкими прыжками через пространство площади, готовый в любую минуту пуститься наутек.

Внезапно послышался грохот мотоцикла, а затем появился и сам он, за ним второй и третий. Они пронеслись по той же самой улице, по которой еще недавно шли отступающие польские солдаты. На каждом водителе была низко надвинутая каска, за спиной торчали автоматы. По улице мотоциклы пронеслись с головокружительной скоростью, затем вырвались на простор площади, запрыгали на ее булыжниках, сделали один круг, другой – и исчезли так же стремительно, как и появились.

Отец перестал хрустеть пальцами и теперь, не переставая, барабанил ими по столу, продолжая шепотом читать молитву. Пальцем он поманил мальчика, указав ему место рядом с собой. Хаймек послушно подошел к столу и сел, но хватило его ненадолго, и через несколько минут он уже снова стоял у окна. Толстый кот, управившись со своими делами, неторопливо возвращался обратно, всем своим видом показывая, что никуда не спешит. «Странно, – подумал мальчик, – если бы кот вдруг поднялся и пошел бы по площади на задних лапах, он точно-точно был бы похож на Абрашу». (Абраша был сыном раввина).

Кот подошел к навозной куче и спугнул сидевших на ней мух, которые взмыли в воздух. Усевшись поудобнее, кот задрал морду и огласил площадь долгим прерывистым воплем, звуки которого были слышны даже сквозь плотно закрытые окна. За окнами, прилипнув к стеклам, белели искаженные лица. Картина была мрачноватой...

Вновь затарахтели мотоциклы, заставляя окна дребезжать. Немцы возвращались. Тотчас же человеческие лица исчезли, словно какая-то невидимая волна смыла их.

Первым выскочил на площадь мотоцикл с коляской. Хаймек, прижавшись к оконной раме, остался невидим, но сам видел все. На немце, сидевшем в коляске, была отливающая синевой фуражка с идущим наискось козырьком. Мальчик удивился тому, что эта фуражка не слетела с головы немца на полном ходу. «А если бы слетела, – подумал он. – Например, от сильного ветра. Интересно, остановился бы мотоцикл, или нет?»

Немец сидел в коляске совершенно неподвижно, словно прибитый гвоздями. Он смотрел прямо перед собой, и за все время даже не пошевелился.

«Мотоциклы у немцев, – подумал мальчик, – это вещь. Немецкие мотоциклы... они такие... красивые. Завтра пойду вместе с Цвией и разгляжу их получше. Когда мотоцикл мчится, колеса у него словно не крутятся. Вот странно...»

Внезапно душераздирающий вопль заставил всех вздрогнуть еще раз. И снова все стихло. Отец замер, перестав раскачиваться. Даже бабушка встрепенулась и приставила к уху ладошку горстой.

«Это кот», – промелькнуло в мозгу у Хаймека, и он совсем вдавил нос в оконное стекло. Но отцовская рука, словно клещами ухватила его за штаны и оттащила к столу. Мать впиалась взглядом в лицо мужа. Девочка на ее руках заплакала. Она уже знала слово «мама» и теперь

повторяла его: «Мама... мама...» Бабушка, оторвав голову от подушки, недоумевающе сказала:

– Кто это так орет? Что случилось?

– Они задавили кота, – сказал мальчик.

– Какой еще кот на нашу голову? – сказала бабушка, оживившись. – Кот-обормот... – Голова ее была чуть видна из впадины на подушке, словно из пещеры.

У отца лицо было блее муки.

– Это Германия, – сказал он загадочно и перестал молиться. Его рука искала, что бы ухватить. Хаймек уклонился, и рука отца тут же стала мять хлебные крошки, рассыпанные по поверхности стола.

Мухи по-прежнему осваивали навозную кучу на площади. Солнечные лучи, падая на зеленые спинки, окрашивали их золотом. Взвившись в воздух, они устремились теперь к кровавому пятну, бывшему еще недавно котом. Их прозрачные крылышки трепетали.

Хаймек смотрел на мух. Он их ненавидел. Почему кот бросился под колеса мотоцикла, а не убежал? Офицер в коляске все так же смотрел прямо перед собой, словно ничего не произошло.

– Куда ты смотришь? – спросил папа.

– Это тот, что убил кота, – сказал Хаймек, словно продолжая прерванный разговор.

– Так, – сказал папа и посмотрел на свои руки, которые безостановочно мяли и месили крошки. Мякоть уже приняла форму филактерий, что по утрам папа, молясь, накладывает на голову и руку.

– Почему он это сделал?

Папа продолжал давить на мякиш.

– Почему, папа?

– Отстань от отца со своими глупостями, – сказала мама, и Хаймек понял, что она сердится.

Бабушка заворочалась в своей постели и вдруг приподнялась на локтях.

– О чем он спрашивает? – поинтересовалась она у мамы. Но выслушать ответ у нее уже не было сил, и она снова погрузилась в перину.

Мальчик думал о своем. Этот немец... он хуже полицейского с его дубинкой. И еще он подумал, что хорошо было бы, если бы этот немец убрался отсюда куда-нибудь...

Но немец не убирался. И даже наоборот. Словно на помощь ему, появились огромные, под зелеными тентами, грузовики, наполнив весь город рычанием своих моторов. Они неторопливо объехали всю площадь и остановились прямо посередине, образовав прямую линию, и тут же из них посыпались солдаты в зеленых касках, с ранцами за спиной и оружием в руках. Как и машины, они выстроились ровными рядами. От их вида почему-то бросало в ужас. Мальчик почувствовал, как страх сжимает ему сердце. Он хотел отойти от окна, но не мог. Стоял и смотрел. Одна шеренга стояла как раз в том месте, где был раздавлен кот. Солдатские сапоги, подкованные гвоздями, стояли в кровавой каше. Зеленые мухи бесстрашно садились теперь на сапоги.

Мальчик смотрел.

Офицер выбрался из мотоциклетной коляски и встал на бетонную ступеньку, окружавшую водонапорную колонку. Спина его опиралась на ржавый рычаг, лицо было обращено прямо к окну, за которым притаился Хаймек. Мальчику казалось, что офицер видит его.

Офицер что-то крикнул, после чего достал монокль и вставил в правый глаз. Затем вытащил из планшета лист бумаги, который показался Хаймеку необыкновенно белым. Тяжелый лающий голос забарабанил по стеклам, проникая сквозь закрытые ставни, проникая внутрь сквозь самые незаметные щели. Стройными рядами, не шевелясь, стояли серо-зеленые солдаты, не шевелясь, не двигаясь – за спинами ранцы, в руках винтовки, на головах зеленые

каска. Солнце лежало на касках причудливыми пятнами. Мальчику казалось, что он видит нарисованную картину. Или сон. Только не явь.

Хаймек слышал слова – отдельные и по нескольку вместе, но, увы, не мог понять, о чем идет речь. Но и от окна он не мог отойти. Его словно заколдовали. Он смотрел на офицера, то и дело заглядывавшего в лист белой-пребелой бумаги, он видел неподвижные ряды серо-зеленых солдат. У него кружилась голова. Он стоял у окна с раскрытым ртом. Он все видел, но ничего не понимал. «Может быть, это и есть те солдаты из страшной сказки, которую когда-то рассказывала бабушка – у них сердца из железа, а тело из свинца». А потом он подумал вот о чем: «А что, если одна из тех зеленых мух, что сначала сидели на навозной куче, а потом перебралась на кровавую кашу, что осталась от кота – что, если одна из этих мух сядет вдруг солдату на нос – он прогонит ее, или так и останется стоять недвижим?»

Офицер закончил читать и убрал бумагу. Вынул из глаза монокль и, резко повернувшись всем туловищем, отдал короткую, резкую команду.

И мальчик увидел чудо: солдатские зеленые прямоугольники вдруг ожили и рассыпались. Они больше не казались единым целым. Квадраты разбились на более мелкие фигуры, а те в свою очередь на еще более мелкие. Вместо стальных рядов площадь заполнили люди в серо-зеленых мундирах. И все. Колдовство исчезло. Солдаты жестикулировали, похлопывали друг друга по спине, болтали и смеялись. «Как самые обыкновенные люди, – подумал мальчик, и эта мысль почему-то обрадовала его. – После обеда спущусь и подойду к ним», – решил он и отошел от окна.

Мама уже стояла у плиты и варила манную кашу для Ханночки. Папа все так же мял хлебный мякиш, только теперь это уже были не филактерии, а усеченные конусы.

– Жаль, что мы не уехали в Варшаву со всеми беженцами, – сказал папа и оставил мякиш в покое. Мама бросила на него быстрый взгляд.

– А что мы забыли в Варшаве?

– Там вся семья.

Мама перестала помешивать кашу. Она выпрямилась, словно от удара, потом шагнула к столу и, глядя на отца сверху вниз, сказала задыхающимся шепотом:

– Нет, Яков. Нет. Кто хочет... Только не я. Я не заставляю своих детей голодать.

– О чем ты говоришь?

– Я знаю о чем. Где беженцы, там голод. Наш дом здесь. Кладовые полны еды. Здесь нам нечего бояться.

Автоматная очередь прервала мамину речь. Стреляли близко, совсем рядом с домом. «На первом этаже», – подумал мальчик и прижался к отцу. Мама умолкла на полуслове. В комнате запахло пригоревшей манной кашей. Хаймек хотел сказать: «Каша горит», но слово застряло у него в горле и никак не хотело выходить. Отец медленно приблизился к окну, выходившему на широкий двор, окруженный другими домами. Хаймек из-под отцовской руки попытался хоть что-нибудь разглядеть, но увидел лишь начищенные сапоги, тут же исчезнувшие через широко раскрытые ворота.

А потом он увидел Шию.

Шия был городским нищим. Его знали все. Мальчишки – и Хаймек не был исключением, любили дразнить его. Теперь Шия сидел на земле, привалившись к воротам и был похож на мешок тряпья. Хаймек видел, как из дыры в виске старого Шии накрапывал кровавый дождик. Кровь стекала по щеке, окрашивая розовым редкую седую бороду.

– Папа, – сказал Хаймек ровным голосом. – Они убили его. Они убили Шию. Они убили его, как...

Мальчик замолчал. Он не сказал того, что хотел. Отец очень рассердился бы на него за такое сравнение.

Когда отец ответил мальчику, голос его звучал торжественно. Словно он читал недельную главу Торы в синагоге:

– Да, – сказал он. Это так. Они его убили. Шию.

Мама сделала несколько быстрых шагов к окну. Ханночка залепетала: «Деда... деда...» и захлебнулась плачем от неожиданной пощечины, первой в ее короткой жизни. Ничего не понимая, она повторяла сквозь слезы: «Деда... деда...» Мать обняла малышку и изо всех сил прижала ее к себе. Потом осыпала поцелуями ее головку, шею, щеки. Хаймек поднял глаза и увидел, что лицо матери все залито слезами.

2

Утром Хаймек спустился во двор. К сновавшим по площади солдатам он еще не осмеливался подойти. Но ему очень хотелось посмотреть вблизи на мертвого Шию. Однако того в подворотне уже не было. Только жирные мухи густо вились над ржавым пятном. Мальчик разогнал мух, топая ногами и размахивая руками. Немца он увидел лишь тогда, когда тот вырос посреди двора. Мальчик вжался в углубление каменной стены. Ему было страшно, но любопытство перевесило страх. Немец показался ему очень красивым. Ладно облегла его отутюженная форма, кожаные ремни португали подчеркивали ширину груди, тонкую талию охватывал широкий ремень. На ремне висела кобура. Мальчик подумал, что кобура очень похожа на пистолет, а ведь сам пистолет должен был прятаться где-то внутри. Таким образом получалось, что у немца было при себе не один, а целых два пистолета...

Сейчас он обратил внимание на правую руку немца. Она вдруг ожила и медленно-медленно двинулась куда-то вниз.

«Если бы пистолет был у меня, – подумал мальчик, – моя рука двинулась бы прямо к черной рукоятке, которая торчит из кобуры».

Рука немца двинулась именно туда. То, что его догадка оказалась правильной, почему-то очень обрадовало Хаймека. И он, наморщив лоб, стал думать дальше. «Если немец вытащит пистолет, то совершенно ясно – он будет из него стрелять. Я просто не могу представить, чтобы кто-нибудь вытащил пистолет и не стрелял. Но в кого же он собирается стрелять в нашем дворе?»

Правая рука немца выхватила из кобуры сверкнувший на солнце маслянистой смазкой пистолет, и в эту же минуту мальчик увидел своего отца. Тот быстро шел из хасидской синагоги, «штибла», торопясь пересечь двор и добраться до лестницы напротив. При этом обеими руками он прижимал к себе Тору, завернутую в вышитую занавеску, обычно покрывавшую ковчег. Не только глазами, всем своим существом мальчик видел, как глаза немца вцепились в маленькую фигурку его отца.

«Боже, – только что не вслух произнес мальчик, – боже, этого не может быть. Этот немец собирается выстрелить в моего папу. А что, если он и в самом деле сделает это? Он ведь может в него попасть пулей... он может его даже убить...» И поскольку мальчик этот, Хаймек, не был до конца уверен, что Бог его услышал, он мысленно обратился к немцу.

«Послушай, немец, – сказал он. – Зачем ты хочешь стрелять? Не стреляй в папу, слышишь? Посмотри на себя. Ты такой красивый. А если ты выстрелишь из своего пистолета, Бог на тебя за это очень рассердится. И накажет. Знаешь, как он может наказать!»

Рука немца с пистолетом двигалась медленно-премедленно. Один глаз у немца был прищурен. Мальчик заговорил быстрее, потом еще быстрее, потом еще.

«Погоди, остановись! Это же мой папа! Знаешь, кто он? А-а, ты не знаешь. И откуда тебе знать, ведь ты же не еврей. А мой папа – он... он... он староста в синагоге, в «штибле». Любой еврей в городе знает его. Он заботится обо всех, кто приходит молиться. И евреи очень рассердятся на тебя, если ты будешь в него стрелять. Мой папа – хасид, радзиминский хасид, ты,

конечно, этого не знал. В «штибле» висит портрет этого великого мудреца, ребе из Радзимин. Папа сказал, что ребе был знаком с самим Богом. И если ты причинишь папе такую боль, ребе пожалуется Богу, да, да... Ребе попросит, чтобы Бог тебя наказал и тут уже тебе мало не будет. Стой, не стреляй, слышишь. Я же тебе только что все объяснил. Неужели тебе не страшно? И не только ребе попросит Бога, я тоже попрошу. Я буду молиться день и ночь. Я выучу всю Гемару¹. Да! Я буду читать молитвы без пропусков, произнося отчетливо каждое слово. А по субботам полдня я не буду играть с друзьями и не буду рвать бумагу. О, Господи, прости меня! Я не буду стоять на коленях, не буду свистеть и никогда не буду спать с непокрытой головой. Пожалуйста, Господи! Поторопись и останови руку этого немца!»

Губы мальчика двигались непрерывно, неслышные слова слетали с них, а взгляд метался то к небу, то к немцу.

Звук выстрела оглушил его. Что-то, блеснув, упало у его ног. Он видел, как отец его вздрогнул и из последних сил побежал. Мальчик смотрел на маленький металлический предмет, который крутился у него под ногами. Он поднял его. Это была гильза. Она была еще теплой. Позднее отец скажет ему, что выстрел попал в Тору, и священная книга спасла ему жизнь.

Мальчик, перебрасывая гильзу с руки на руку, думал: «Он все-таки выстрелил. Сейчас начнется. Сейчас с небес сверкнет молния и поразит немца. Я же договорился с Богом...»

Но молния не сверкнула. Грянул второй выстрел, но отец уже взбегал по лестнице, прижимая к груди драгоценную ношу. «Почему нет молнии?» – растерянно думал мальчик. Он посмотрел на окна, выходящие во двор, и увидел белое лицо матери, и ее руки, вцепившиеся в подоконник. «Мама! – закричал про себя мальчик, – мама, прикажи немцу, чтобы он перестал пугать папу. Он ведь может в него нечаянно попасть, и тогда наш папа тоже будет лежать, как лежал нищий Шия...»

Немец тем временем колебался. Отличный стрелок, он с двух выстрелов не попал в эту крысу, в этого вонючего маленького еврея! Ноги сами сорвали его с места. Не выпуская из рук пистолета, он бросился через двор к лестнице, к подъезду, в котором только что скрылся еврей. До слуха мальчика донесся пугающе непонятный громкий крик:

– Хальт! Хальт! Доннерветтер! Ферфлюхтер юде! Ду, швайн, хальт!²

Мальчик закрыл глаза, моля о чуде.

И чудо свершилось! Не добежав до лестницы нескольких шагов, немец неожиданно остановился и посмотрел на часы. Неохотно сунул пистолет в кобуру, поправил съехавшую набок фуражку, еще раз посмотрел на часы и, медленно ступая, вышел со двора.

Но мальчик-то знал, что это Бог заставил его это сделать!

3

В тот раз, когда немцы пришли и забрали у бабушки все ее доллары, дома не оказалось никого, кто смог бы ее защитить. Точнее, так: отец был дома и мама тоже. Но отец прятался в тайнике за шкафом, куда он взял с собой только книгу Торы. А мама молчала, хотя она и знала немецкий – в отличие от папы. Хаймек был убежден – его мама знала немецкий всегда, еще со времен предыдущей войны, а может быть и еще раньше. Во всяком случае, она время от времени вспоминала ту, предыдущую войну и при этом всегда говорила: «Я отлично ее помню! Тогда тоже были немцы. Ну и что? Культурная нация. В предыдущую войну они хорошо относились к людям. Так что ничего плохого, я уверена, с нами и сейчас не случится».

При этом папа предпочитал прятаться в шкафу вместе с Торой.

Мама говорила еще:

¹ Составная часть Талмуда.

² Стой! Стой! Гром и молния! Проклятый еврей! Ты, свинья, стой! (нем.)

– Немцы – люди как люди. Очень важно говорить с ними на их языке. На языке, который они понимают. Если разговариваете с мужчиной, говорите ему: «Герр». Говорите почаще: «Данке шен»... Немцы очень ценят вежливость. Надо только уметь с ними разговаривать.

Хаймек был уверен, что мама умела.

Но в последнее время мама почти совсем не говорила. При малейшей опасности она замолкала и словно прирастала к табуретке. Садилась на табуретку и молча сидела. Только взгляд ее все время буравил шкаф, за которым прятался ее муж, прижимая к себе Тору.

А у бабушки были доллары. И она их очень любила. Или нет, не так. Она была к ним очень привязана. Когда она думала, что ее никто не видит, она доставала их и по несколько раз пересчитывала. Она верила, что доллары могут все – точно так же, как отец думал, что все может Тора. Да, доллары. Издалека добирались они до этих мест, из-за гор и морей. Из неведомой страны, про которую Хаймек знал только, что она называлась Америка. Тоненький пакет, проштампованный многими печатями время от времени появлялся из сумки почтальона. Появившись на пороге, почтальон каждый раз спрашивал, может ли он видеть уважаемую госпожу Сару Гольдин. И тут же из своей комнаты, поправляя на голове парик, появлялась бабушка, очень важная. Глядя в эти минуты на нее, можно было подумать, что наступил праздник. Не без кокетства подходила она к почтальону. Глаза ее весело поблескивали, и даже сутулой она почти не казалась.

– Сара Гольдин – это я, прошу пана, – говорила она почтальону, словно видела его в первый раз.

Работник почты тоже играет в эту игру. Он почтительно снимает с головы круглую форменную фуражку, кланяется, смешно переламываясь в поясище и успевая при этом тайком подмигнуть мальчику, после чего произносит странную фразу:

«Госпожа, не надо слез,
Я вам доллары принес».

Поразительный, все-таки, народ, эти взрослые. Однажды мальчик не утерпел и спросил почтальона – почему он говорит о слезах, когда бабушка, наоборот, получая пакет с печатями, всегда выглядит очень довольной? Почтальон смеялся так, что звенели окна.

– Хаймек, ну какой же ты потешный! Ты знаешь, что такое «рифма»? Ах, ты не знаешь... Тогда спроси у своей мамы. А сейчас не мешай нам, хорошо?

Мальчик про себя повторяет «рифму». А бабушка, как ни в чем не бывало, нагибается и, слюня кончик химического карандаша, выводит свое имя на почтовой квитанции, после чего почтальон протягивает ей долгожданный конверт и снова приподнимает фуражку. У него на голове лысина, очень смешная – гладкая посередине с густыми волосками по бокам, отчего голова похожа на бублик с маком. Уже после того, как передача ценностей из рук в руки закончилась, и бабушка остается один на один с конвертом и сургучными печатями, она вдруг произносит ну совсем как почтальон:

«Больше долларов со мной,
Легче справиться с войной».—

И, высказавшись таким вот неожиданным образом, бабушка прячет конверт между накрахмаленными простынями в бельеовом шкафу. Среди таких же конвертов...

А потом пришли немцы и забрали все конверты. Они пришли. А вот человек с головой, похожей на бублик с маком, с тех пор больше не приходил ни разу.

Немцы пришли ранним утром. Мальчик слышал, как прогрохотали их сапоги по лестнице. Затем они стали колотить в дверь, и каждый удар заставлял сердце мальчика трепетно

сжиматься. Мама отодвинула засов, прошла в кухню и села на табуретку. Немцы ввалились все сразу. Они ничего не говорили и ни о чем не спрашивали. Похоже было, что они знали, что им нужно. Без лишних слов они принялись переворачивать все вверх дном.

Они заглянули даже – интересно, зачем, в потухшую плиту, открыли все заслонки в печах, выдвинули и вытряхнули все ящики... они даже сорвали обои, на которых распускались яркие розы, они разбросали по полу постельное белье и ходили по накрахмаленным наволочкам и простыням грязными сапогами.

Потом дошла очередь до бабушкиного шкафа. Когда солдат подошел к нему и взялся за резные дверцы, бабушка, раскинув руки, заслонила шкаф и сказала ровным голосом:

– Нет. Сюда нельзя. Это мое, – и указала себе на грудь.

Наступила минута молчания. Мальчик с восхищением подумал о том, какая смелая у него бабушка.

Но на немца, похоже, бабушкина смелость не произвела большого впечатления. Он положил ей на плечи свои руки в кожаных перчатках и надавил с такой силой, что бабушка оказалась на полу. После чего немец погрозил ей кожаным пальцем – точь-в-точь, как делала мама, когда Ханночка начинала капризничать. В следующую минуту он открыл шкаф и один за другим вытащил кучу конвертов. Бабушкины глаза провожали каждое его движение, вплоть до того момента, когда конверты исчезли у немца в сумке. Хаймек заметил, что на глазах у бабушки слезы. Внезапно у него сдавило горло так, словно кто-то сжал ему горло клещами. Неожиданно для самого себя он шагнул к немцу и схватил его за рукав. С немой мольбой взглянул он наверх в бледно-голубые глаза и испугался. В них, этих глазах, не было ничего. Абсолютно ничего.

Мальчик кивнул головой в сторону онемевшей от всего происходящего бабушки, все еще горестно сидевшей на полу, потом дотронулся до сумки в руках солдата и начал бормотать что-то непонятное ему самому, что, по его разумению, должно было звучать по-немецки и быть понятно солдату – если не сами слова, то хотя бы выражение их и тон. Мальчику казалось, что он говорит с немцем на языке, во всем мире понятном только им двоим.

Немец, не меняя выражения глаз, осторожно освободил свой рукав и начал его отряхивать, словно счищая с него какую-то грязь или насекомых. А потом, не торопясь, затянул ремешки на своей сумке.

Мальчик был смущен. И обескуражен. Что же это делается! И почему все молчат?

– Мама! – сказал Хаймек, громко и с возмущением. – Мама! Почему ты молчишь? Скажи ему, что это бабушкины деньги. Она их так долго копила... Их же нельзя вот так, просто, забрать и все. Скажи ему, мама, на его языке, он точно тебя послушает.

Немец при этом стоял, как истукан, широко расставив ноги, и цепко переводил свой взор с одного лица на другое. Потом произнес несколько фраз, в которых – мальчик отметил это – несколько раз повторялось одно и то же слово «капут». Потом он повернулся, открыл дверь и затопал вниз по лестнице. Немцы, производившие обыск в других комнатах, не говоря ни слова, последовали за ним.

Некоторое время никто не проронил ни слова.

– Что он сказал напоследок, мама? – спросил мальчик.

– Не важно, – сказала мама.

– Он все время говорил про какой-то «капут»... Это плохо?

– Плохо то, что сегодня ты еще не молился, – сказала мама. – Иди и прочитай молитву.

Когда мама говорила с мальчиком подобным образом, это могло означать лишь одно – мама сердится. Потому что в иное время она нисколько не ценит молитвы, обращенные к небесам. Ибо, считает мама, Бог находится здесь, на земле.

«Бог, – думает Хаймек, – это тот, в чьих руках наша жизнь и смерть. Так? А в чьих руках наша жизнь и смерть?»

В руках немца.

– Значит, – продолжает размышлять далее умный еврейский мальчик, – значит, что Бог – это немец».

При мысли об этом Хаймек в страхе втягивает голову в плечи.

4

В самые первые дни прихода немцев Хаймек, поднабравшись смелости, несколько раз выходил из дома и пробирался на базарную площадь. Если ему удавалось мягкой ветошью вымыть немцам машину, он получал за это целую банку консервов, а, кроме того, мог насобирать множество окурков. Всю свою добычу он приносил с собой в дом. Мама добывала из окурков табак, рассыпала его для просушки на плите, а потом сворачивала в длинные красивые сигареты, которые прятала в картонной коробке из-под сигар. «На всякий случай, – бормотала она, а мальчик слушал. – Иногда табак, это те же деньги...» и мальчик смотрит, как маминны длинные ловкие пальцы скручивают тонкую бумагу, вкладывают ее в специальную железную формочку и сжимают. Смотреть, как мама что-то делает, ему не надоедает никогда. Так же, как и просто смотреть на маму – такая она красивая. Иногда, работая, она напевает какую-нибудь песенку, не важно какую. Мальчик понимал это так – мама подает этим условный знак его папе, который в эту минуту молится в тайнике за шкафом. Мальчик даже знает, что мама хочет сказать папе. «Сколько я твердила тебе, – хочет она сказать, – чтобы ты оставил должность старосты в синагоге, в «штибле». Да, да, знаю – ты так ее хотел, так добивался. И что теперь? Сидишь в каморке и слепнешь, читая Тору при свече. И всем на свете наплевать, что ты староста. Особенно немцам. Уж им-то абсолютно наплевать, что ты знаешь Тору наизусть. Для них ты такой же еврей, как нищий Шия. Если не хуже. Ты не знаешь немцев, а я знаю. Они народ организованный. Знаешь, что у них вместо Торы? Я скажу тебе. «Орднунг» – вот что для них главное. «Порядок». И чтобы при этом каждый человек приносил им пользу. А теперь скажи мне – какая им польза от человека, который сидит за шкафом и читает Тору?»

Мама знает немецкий, и потому считает, что немцев она знает тоже. Она любит поговорить о «немецком характере». «Знаете, что я вам скажу? – повторяет она без устали. Немцы – они такие... Любят порядок и любят, чтобы была чистота. Они называют это словом «заубер» Посмотрели бы вы на их кладбище. «Заубер». И еще раз «заубер». А когда они видят непорядок и грязь, сразу начинают морщить нос и говорят: «Дрек». По-немецки это слово означает просто грязь, а на идише, как вам хорошо известно, «дрек» – это отбросы, нечистоты и просто дерьмо. Теперь понятно, что немцы, как культурный брезгливый народ любят «орднунг» и «заубер», а всяческий «дрек» ненавидят. Для них, культурных немцев (говорит дальше мама, а мальчик, Хаймек, слушает, раскрыв рот), попрошайка Шия – это тоже «дрек», бесполезный отброс, точно так же, как и твоя книга Торы, Яков, из-за чего тебя чуть не убили, а дети остались бы сиротами. Думаешь, я не знаю? Ты всех их считаешь извергами, а вот к Хаймеку они относятся безо всякой злобы. Каждый раз, когда он помогает им наводить чистоту, они обязательно дают мальчику какой-нибудь, пусть самый маленький, но подарок.

– А я каждый раз говорю им «Данке». Им это нравится, – добавляет Хаймек.

Так оно и было поначалу. Но потом (и довольно скоро) все закончилось, и Хаймек уже больше не решался выходить на улицу, не говоря уже о том, чтобы прогуляться на площадь. Сидя дома он, сжавшись в комочек, с ужасом прислушивался к грохоту подбитых гвоздями сапог, ожидая стука в дверь. У него был тонкий слух, и он слышал шаги немецких солдат еще тогда, когда те были в самом начале улицы, рядом с костелом. Тогда по спине у него пробегал озноб, и что-то сжимало ему голову. В эту минуту ему хотелось стать маленьким-премаленьким, меньше даже, чем Ханночка, стать таким маленьким и незаметным, чтобы можно было забраться в тонюсенькую щель и там замереть. С той минуты, когда – близко ли, далеко ли,

раздавались солдатские шаги, его губы начинали безостановочно повторять одни и те же слова, неизвестно к кому обращенные и похожие не то на заклинание, не то на молитву. «Только не к нам, – шептал мальчик, натягивая на голову одеяло, – только не к нам». И так до тех пор, пока не замирало вдаль последнее эхо, пока чья-то злая воля не прекращала его мученья воплем, полным отчаянья и страдания.

Или выстрелом.

После чего настанет тишина.

А потом дошла очередь и до них. Топот подкованных гвоздями сапог. Громовые удары в дверь. И грубый голос, выкрикнувший громко и повелительно:

– Юден, раус! Раус³!

Вышла мама и встала в проеме двери, прижимая к себе Ханночку. Откинула задвижку и лицом к лицу столкнулась с молодым красивым немцем, улыбавшимся во весь рот. Мама хотела что-то спросить, но голос у нее сел, и только губы шевелились так тихо, что мальчик едва разобрал мамины слова.

– Варум? Почему?

У мальчика была очень красивая мама. А на руках у мамы была очень красивая Ханночка. Может быть, поэтому Бог явил одно из своих чудес. Немец не стал больше кричать тем своим грубым и злым голосом, которым еще несколько минут назад он возглашал, что евреи должны убираться, а, блеснув красивыми ровными зубами, улыбнулся маме вполне приветливо, потрепал Ханночку за подбородок, показал ей язык и дважды цокнул, как сойка:

– Цо... цо...

Ханночка радостно залилась смехом. Мальчик перехватил мамин взгляд. Этот взгляд словно говорил ему: «Вот видишь. Немцы совсем нормальные люди. Как все мы. А если к тому же говорить с ними на их языке...»

И мама стала говорить что-то молодому красивому немцу по-немецки. Мальчик почувствовал невольную гордость. Вот какая у него мама. Мало того, что красивее ее нет никого, она еще и такая умная. Сразу поняла, чем может усмирить этих страшных немцев – их же собственным языком. Когда все-таки успела она выучиться этому немецкому языку? А теперь у нее есть ключ, которым она может открыть все дверцы к немецким сердцам. Когда он вырастет, решил мальчик, он первым делом выучит немецкий язык, на котором мама сейчас так свободно говорит с красивым немцем, а немец улыбается маме и все щекочет Ханночку под подбородком, так что девочка заливается смехом. Как жаль, думает дальше мальчик, как жаль, что вот так же, как мама, с немцем не может поговорить его папа. Потому что в свое время папа выучил только один язык, иврит, древнееврейский. А знай он, как мама, немецкий, уж он-то наверняка объяснил бы немцу, что за великая книга Тора.

Так объяснил бы, что немцы бы все поняли.

Но немецкого папа не знает. Зато уж на иврите, древнееврейском, он непрерывно разговаривает с Богом. С раннего утра и до поздней ночи. Даже в такие вот дни, когда долгие часы он проводит в тайнике за шкафом – чуть свет он выбирается из этой дыры для прочтения утренней молитвы, закрепляет свои филактерии на голове и руке и начинает раскачиваться, объясняя что-то Всевышнему. Мальчику кажется, что папа, дай ему только волю, разговаривал бы с Богом бесконечно. Но в доме есть мама, и она говорит папе:

– Хватит, Яков. Хватит. Ты не боишься надоесть Господу своими молитвами? Чего тебе не хватает? Ты в большей безопасности, когда без всякой молитвы сидишь за шкафом, чем вот сейчас со всеми своими молитвами.

Когда мама говорит так, а это случается часто, мальчику кажется, что мама не слишком верит в чудодейственную силу папиных молитв. Но – и это едва ли не самое удивительное, папа

³ Евреи, вон! Вон! (нем.)

никак не реагирует на мамины язвительные речи. Он очень любит маму. Потому он и женился на ней, несмотря на возражения родных. А родные возражали, потому что мама была воспитанницей светской еврейской организации «Ха-шомер ха-цаир», в которой без должного пиетета относились к ортодоксальному иудаизму. Доходило до того, что своей Торой они называли «Капитал». Однако, несмотря на то, что общение с безбожниками, по словам папы, «испортило маму», ее красота перевесила все возражения и папа женился на ней, продолжая, раскачиваясь, читать молитвы и жаловаться на непорядок в этом мире «куда-то запропастившемся» (по словам мамы) Богу. Мальчик, обдумывая все это, вынужден был признать: не исключено, что мама в чем-то права – немец на земле, похоже, сильнее того, что на небесах. Потому что Тот – безмолвствует, а немец тем временем, творит здесь все, что пожелает. Вот, захотелось ему – и нет уже на свете безобидного Шии-попрошайки. Вздумалось ему пострелять – и он без колебаний стреляет в папу, прижимающего к груди священную книгу. Или вот еще – забирает бабушкины деньги, ее доллары, которые ей прислали из далекой Америки. Немец, когда ему вздумается, топает своими сапогами по лестнице, вламывается в дом, кричит «Юден – Раус!» и, улыбаясь маме, щекочет Ханночку под подбородком, в то время, как папа, замерев, прячется в крохотном тайнике за шкафом.

Мамин вопрос: «Варум?» Все еще висит в воздухе. Поскольку мама спросила по-немецки, немец отвечал ей тоже на своем красивом, четком языке, как-то особенно подчеркивая звук «р».

«Юденрейн» – улыбаясь, сказал немец. Мама начинает бледнеть. Мальчик глядит на ее шевелящиеся губы и угадывает это слово – «юденрейн». Он чувствует, что мама смертельно испугана. Из-за одного только слова? Наверное, оно означает что-то важное.

Да, скорее всего. Важное и... хорошее. Мальчик судит по улыбке, с которой было произнесено это слово. Улыбка предназначалась не то маме, не то Ханночке, которую немец непрерывно смешил. А человек, который так хорошо относится к маленькому ребенку и слова произносит соответствующие. Успокаивающие слова, в которых ничего плохого не может быть. И совершенно непонятно, чего так испугалась мама.

Вот о чем думает Хаймек.

Когда за немцем и сопровождавшими его солдатами захлопнулась дверь, отец как-то неожиданно и быстро выбрался из своего убежища за шкафом и заметался по квартире, что-то бормоча, а мама положила Ханночку на кровать и стала заламывать пальцы. Она не металась, как папа. Она монотонно шла вдоль стен, натыкаясь на все подряд, и мальчик слышит, как раз и другой и третий она говорит без всякого выражения одно и то же:

– Что... что... что делать, что теперь делать, что мы будем делать, что теперь будет со всеми нами, куда мы пойдем, как мы все это бросим? Ведь это же наш дом, это наш дом... наш дом...

А папа носится по квартире, мечется по комнатам, словно он сошел с ума, не произнося ни слова, хватая то одну вещь, то другую, не переставая шевелить губами и кивать. Вот папа схватил тонкое серое одеяло и стал бросать на него какие-то вещи, в то время, как мама все вышагивала вдоль стен, повторяя свои бесконечные что... что... что... и пальцы ее трещали в такт ее шагам. Хаймек нерешительно спрашивает у мамы:

– Мама! А почему мы должны куда-то идти? Ведь этот немец никого не ударил, он не стрелял, он только улыбался тебе и играл с Ханночкой. А, мама?

Мама смотрит на Хаймека, но такое впечатление, что она не видит его. И не слышит.

– Мама...

– Что... что... что... – снова начинает было мама и только тут вспоминает про мальчика.

– Хаймек, – говорит она так, как никогда не говорила. – Бедный ты мой... Ты же слышал, что сказал этот немец? Слышал?

– Он сказал «юденрейн». А что, это плохо?

Мамины пальцы вот-вот сломаются.

– Плохо? – говорит она. – Плохо? Это, Хаймек, так для всех нас плохо, что хуже некуда.

– А что это значит, мама?

– Это значит, что немцы хотят очистить от нас город.

Мальчик ничего не может понять.

– От нас?

– От евреев. «Юденрейн» это и обозначает «очищенный от евреев». Город должен стать «заубер», чистым, – говорит мама, и по лицу ее ползет какая-то кривая улыбка, раньше Хаймек никогда ее не видел.

Он обводит взглядом всю свою семью, словно ожидая, что кто-нибудь скажет ему, что все происходящее просто шутка. Но никто ничего не говорит. Мама стоит, сжимая руки. Папа судорожными движениями продолжает упаковывать вещи. И бабушка молчит. Значит то, что сказала мама – не шутка?

И мальчик начинает принимать всерьез то, что происходит. Но это означает, что они – все, вся семья, должны куда-то уйти, уехать. Тогда почему бы им не поступить иначе? Не спрятаться, к примеру, в тайнике за шкафом? Он задает этот вопрос взрослым, но вопрос падает в пустоту. Вот что значит быть маленьким, с горечью думает Хаймек. Никто не слушает твоих советов.

– Ну, так, – думает мальчик дальше. Значит, взрослые уже что-то решили. Наверное, они решили, куда все поедут. И тут он широко улыбается, этот умный еврейский мальчик, Хаймек. Потому что он понял – куда. Они едут к бабушке.

Эта догадка утешает его.

Дедушка живет в Варшаве. У него густые широкие брови. Если положить на них ладошку, волосы щекочутся, словно мухи.

Если они едут к бабушке, ничего особенно плохого в этом «юденрейн» нет. И тут он вспоминает о Цвии, своей подруге. Ведь если все евреи уедут, значит, он уже не сможет подолгу играть с ней в доктора и больного или в папу и маму?

Мама Хаймека увидела, что мальчик чем-то расстроен. Положив свою руку ему на голову, она произносит:

– Немцы нас не любят. Они считают, что мы пачкаем это место.

Мальчик поражен. Это просто какая-то глупость!

– А разве Стефан, наш дворник, не убирает каждое утро весь двор? – с недоумением говорит Хаймек. Он мог бы добавить к этому еще, что Стефан совсем недавно просмолил дегтем всю уборную и побелил ее известью снаружи, а, кроме того, каждый вечер он берет большую метлу и подметает улицу.

И снова Хаймек видит на маминых губах эту странную улыбку.

– Этот немец, – говорит мама, – имеет в виду совсем другое, Хаймек. Город грязен, потому что в нем живут евреи. Живем мы, все мы. И мы этим самым его загрязняем. Загаживаем.

Ну, нет! Хаймек с этим абсолютно не согласен!

– Ох, он и врун, этот твой немец, – горячо говорит мальчик. – Правда, папа? Я только раз видел, как Шмулик нагадил возле орехового дерева, что во дворе хедера. А я не делал так ни разу. А у Шмулика в тот раз схватило живот...

Мама положила мальчику ладонь на губы и сказала:

– Ты еще маленький, Хаймек. Если бы это было так, как ты говоришь. Но немцы... раньше они были другие. А теперь они уверены, что евреи... все евреи очень-очень плохие только потому, что мы есть, что мы ходим, разговариваем, просто живем.

– Но почему? Почему?

Мама начала что-то объяснять, но чем больше она говорила, тем меньше понимал ее Хаймек. В чем он ей и признался.

– Я ничего не понимаю.

И он горько заплакал. Это происходило с ним всегда, когда он чего-нибудь не мог понять. Так было и в хедере, когда раввин объяснял главу Торы, повествующую об исходе из Египта. И, в особенности, о «казнях египетских», которыми Моисей и Аарон покарали фараона. Хаймек сидел, раскрыв рот, и следил по книге за чтением раввина. Когда тот добрался до фразы: «и отяжелил он сердце свое»... мальчик вдруг ясно увидел, как вода превращается в кровь – и кровь эта течет везде; и в реках была кровь и в прудах и даже в бочках, в которых египтяне хранили питьевую воду; а потом точно так же он увидел нашествие жаб, бесчисленные количества огромных мерзких жаб, заполонивших всю землю. И как он ни старался, он все равно не мог понять, что ж это все-таки такое «и отяжелил он свое сердце», и как все это связано с реками крови и жабами, заполонившими всю землю, хоть умри, не мог. Как ни старался Хаймек – а он старался изо всех своих сил, понять этого он был не в состоянии – как сердце может стать тяжелым. Ему почему-то очень важно было узнать именно это. И он собрался, было спросить у раввина, но тот объяснял уже следующее наказание, постигшее непонятливого фараона, нашествие вшей, которые кишели на людях и на скотине и везде, где только можно. И Хаймеку почудилось, что маленький раввин в эту минуту превратился в огромного исполина, каким он представлял себе Аарона из Торы, своим посохом совершающего чудеса и насылающего на египтян совершенно немыслимые кары, чтобы не упрямилась. И вот теперь, вспомнив о раввине, мальчик произносит громко вслух:

– Были бы сейчас здесь Моисей и Аарон, никто не выгнал бы нас отсюда...

Отец замер и перестал паковать вещи. Потом подошел, ущипнул сына за щеку и сказал:

– Увы, сынок. Хотя истинную и святую правду изрек ты сейчас. Нет у нас сейчас здесь ни Моисея, ни Аарона. Нет и пророков наших и великих коэнов.

Постоял, подумал и добавил:

– Это все наша вина, сынок. И ее мы сами должны искупить. – Наклонившись, он зашептал мальчику в самое ухо:

– Ах, если бы отыскался сейчас среди евреев святой человек, мудрец, хахам, цадик, который был бы достоин предстать перед Всевышним, чтобы взять и возложить это бремя на свои плечи.

– Какое бремя? – не понял Хаймек.

– Бремя Торы, – сказал папа. – Вот в чем наша вина. Мы – поколение, захотевшее жить легко. И мы сбросили со своих плеч бремя обязанностей, налагаемых на человека Торой. Мало ли среди евреев таких, что курят в субботу, едят свинину, да мало ли еще чего... Такое вот поколение...

– Ты чего это пристал к мальчику? – железным голосом сказала мама. Другого времени для своих проповедей не нашел? Оставь ребенка в покое и заканчивай лучше с упаковкой...

Но папа на этот раз не спешил выполнить мамино указание. Он притянул сына к себе и увлек его в дальний угол. Обернулся по сторонам, убедился, что отсюда его никто не услышит, и снова зашептал Хаймеку прямо в ухо:

– У женщин, сынок, в голове всегда полная каша. Ты слушай, что говорю тебе я, твой отец. Ты уже большой. Тебе пошел уже восьмой год. Мне тут пришла в голову одна мысль... как раз в то время, когда я прятался за шкафом. То, что я скажу тебе сейчас, очень важно. Так вот сынок, в Торе сказано, что перед приходом Мессии нас ожидают несчастья. Так может быть это они уже и начались сейчас? В Торе есть все, поверь мне. Приближается круглая дата, ты знаешь это? По нашему, еврейскому календарю. От сотворения мира – пять тысяч семьсот лет. Ой-вавой, сынок, ведь это – «год сотни», и, скорее всего именно про это время сказано в

Книге: «на пятый год стали воскресать умершие, сблизилась кость с костью своей...», и все это произойдет вот-вот, через пять лет, в 5705 году. Об этом сказал великий пророк Иезекииль...

Хаймек слушал, пораженный до глубины души доверием отца, у которого от вдохновения горели глаза. В эту минуту, как никогда раньше, мальчик чувствовал, как он восхищается им. А тот продолжал, уже не умеряя голоса:

– Теперь ты понимаешь, сынок, что происходит и куда это идет. Все идет к несчастьям перед приходом Мессии. К войне Гога и Магога. После чего и наступит 5705 год. Нам, взрослым, погрязшим в многочисленных прегрешениях, уже вынесен смертный приговор. Нам... но не тебе, сынок. Ты должен жить... и ты доживешь до этого пятого года, ибо ты свободен от грехов и не нарушил заповедей.

– Ты оставишь ребенка в покое, или мы уйдем из дома, так и не собравшись, а, Яков?

Отец посмотрел на маму. Потом приложил палец к губам, как бы заключив с сыном союз вечного молчания.

– Я пойду, скажу Стефану, чтобы он присматривал за домом, пока мы не вернемся, – сказала мама. – Если вернемся...

– Мы вернемся, – сказал папа каким-то торжественным голосом. – Если господь Бог захочет, мы вернемся целые и невредимые. И я обещаю тебе... если с этим домом что-нибудь случится, я построю тебе другой дом, еще красивее этого.

– А если не вернемся?

– Если не вернемся... Папа широко развел руками и ничего не добавил.

Потом папа и мама сообща принялись за работу. Упаковывали, укладывали, связывали. Все делали споро и молча.

Хаймек стоял и смотрел. Папа разглядывал маленький сверток, перевязанный посередине, а потом еще крест накрест.

– Вот это понесешь ты, Хаймек, – сказал папа. – Возьми, попробуй. Не тяжело?

Хаймек взял сверток. Подержал. Потом сказал с обидой в голосе:

– Такое может и Ханночка донести. Я ведь уже большой, папа. Ты сам сказал.

Папа улыбнулся Хаймеку, сверкнул глазами, хотел что-то сказать, но не сказал, просто произнес: «Ну-ну...» И снова вернулся к своему занятию. Отбирал вещи, укладывал, уминал. И связывал в очередной тук. Похоже было, что к нему вернулось хорошее настроение. Занимаясь своим делом, он легкомысленно напевал, мурлыкая, Бог знает что. Звучало это так:

«И сказал Господь Аврааму, бим-бам, бим-бим-бам, из земли твоей уйди, от родства твоего, бим-бим-били-били-бам, и из дома... из дома отца твоего, йо-хо-хо, в землю, которую укажу тебе, бим-бим-бам, бим-бара-бим, ой-вэй...»

Мальчик ощутил, как волна радости заливает его. Он понял, о чем поет отец. Он пел о том, что давно было описано в Торе, об исходе их далекого предка, праотца Авраама, которому Господь повелел вот так же бросить все и отправиться в неведомые края. Его, Хаймека, папа, так и понял замысел Господа, и в конце концов все будет, как в Торе – хорошо и прекрасно.

Он смотрел на своего отца, и слушал его мелодичный голос, в такт которому двигались его проворные крепкие руки, завязывавшие очередной узел перед тем как покинуть дом и землю, где они родились...

Глава вторая

1

Да. Крепкой и тяжелой была рука у отца. Виной тому была его работа. Папа Хаймека был портным. Ну-ка попробуй, кто не пробовал! В обычные дни отец часами работает без перерыва, не щадя себя – наносит на материале линии плоским куском мела, а затем одним движением режет его широкими портновскими ножницами, похожими на клешни огромного рака. Ткань на месте разреза угрожающе шипит, но отец тут же отпаривает ее тяжелым чугунным утюгом, работающем на угле. Мальчик очень любит наблюдать за волосатой смуглой рукой, так ловко орудующей всеми этими предметами – мелом, ножницами, метром и утюгом. Надо сказать, что рука у отца не остается всегда одного цвета. Природно-смуглая она только в будничные дни. А по вторникам и пятницам, когда на площади вовсю шумит базар, она временами становится красной, и, даже темно-красной.

Происходит это так. В базарные дни папа чуть свет натягивал палатку в портновском ряду впритык с другими такими же мастерами. Внутри палатки он развешивал пальто и матерчатые костюмы, а у входа – самые разнообразные брюки. По пятницам, едва только раввин отпускал своих учеников чуть-чуть пораньше, (из уважения к наступающей субботе), Хаймек, не теряя ни минуты, мчался к отцовской палатке, чтобы в который раз убедиться, насколько крепка рука его отца.

Многое, конечно, зависело здесь от покупателя. Как только таковой появлялся, мама тут же приходила на помощь и, не теряя достоинства, принималась расхваливать выставленный товар. «Посмотрите сюда, – говорила она своим мелодичным голосом... а теперь посмотрите сюда». Покупатель, обычно польский крестьянин, недоверчивый, медлительный и молчаливый, как бы нехотя оглядывал товар. Он стоял настороженно, не высказывая ни к чему явного интереса, сунув под мышку свой кнут. Он мог простоять так, не произнося ни слова и пять минут, и десять, а то и полчаса, больше всего интересуясь кнутовищем. Но не сомневайтесь – он уже углядел то, что ему надо, допустим, пальто, но пройдет еще не менее получаса, а то и целый час прежде, чем кнутовище отправится в сапог, и он, как бы совершенно случайно спросит о цене – вот того пальто... и вот этого... и того, что висит рядом...

Это – не дело само, а лишь подход к делу. Действие начинается спокойно, даже вяло, совсем неспешно и словно бы даже нехотя. Потом обе стороны разогреваются, голоса становятся громче, температура в палатке поднимается, а дальше уже дело идет всерьез, когда воздух начинают сотрясать проклятья, божба и клятвы. Но заканчивается все тогда лишь – и только тогда, когда продавец и покупатель начинают битву за цену, для чего они должны рано или поздно ударить по рукам. Вот здесь смуглая папина рука становится иногда темно-красной. На самом последнем этапе крестьянин берет папину правую ладонь, кладет ее на тыльную сторону своей левой руки и бьет по ней правой своей ладонью со всего размаха.

– Пятнадцать злотых, так? – говорит крестьянин.

Папина рука чуть покраснела и припухла, но ведь это только начало. Он не остается в долгу. Он берет свою правую руку и с размаху бьет ею по левой руке покупателя.

– Двадцать пять злотых, – говорит он. – Чтоб я так жил.

Крестьянин в свою очередь бьет, что есть силы. А силы есть:

– Пусть будет так, пан. Семнадцать злотых.

Папа тоже добавляет силы:

– Только для вас, пан. Двадцать три...

Нет в это время на всем рынке человека, более счастливого, чем Хаймек. Он с восхищением смотрит на своего отца. Лицо у того покраснело, на лбу выступил пот, шляпа чуть сползла на лоб, а из-под нее мальчику видны сверкающие азартом отцовские глаза, и Хаймек в эту минуту уверен, что глаза эти улыбаются именно ему, Хаймеку...

Да... но дело еще не завершено. Крестьянин снимает свое старое пальто, кладет на стул, рядом кладет свой кнут, прочно ставит обутые в сапоги толстые ноги и уважительно рычит из-под усов:

– А, господин еврей... и здоровая ж у тебя рука!

На что папа только усмехается, но вполне добродушно. Он даже немножко польщен. Пора завершать сделку. В итоге новое пальто достается крестьянину ровно за двадцать злотых. И, пожав напоследок друг другу покрасневшие руки, покупатель и продавец расстаются, довольные друг другом и собой.

2

Да, надежны отцовские руки, и кому, как не Хаймеку, знать это. Вышло однажды так, что вызволили они его как-то из полицейского участка, вот как. Никто в целом мире даже не догадывался об этом, потому что все происходило во сне. И тем не менее...

Этот сон запомнится мальчику навсегда.

Накануне Хаймек долго наблюдал за полицейским участком, расположенном на другой стороне рыночной площади. Как раз напротив окна, возле которого мальчик так любил стоять. Из-за большого расстояния и надвигавшейся темноты он не мог разглядеть все детали происходившего – напрягая зрение, он мог лишь увидеть движение, тени, и – при свете, падавшем из освещенных окон полицейского участка – блеск латунных форменных пуговиц на синих мундирах двух полицейских, которые волокли по земле отчаянно извивающегося человека, который делал безуспешные попытки вырваться. Мальчик слышал крики этого человека, то ужасные и пронзительные, когда на него обрушивался очередной удар дубинки, то умоляющие и едва слышные ему. Казалось ему, что различает он даже и сами эти дубинки, обычно свисавшие у стражей порядка с пояса, а сейчас походившие на безжалостные живые существа, которые то взмывали в воздух, то с тупым звуком опускались на незащищенное тело бедняги. Задержавшись на мгновение у входа, вся троица, наконец, исчезла за дверями участка. А мальчик услышал за своей спиной голос бабушки:

– Смотришь? Смотри, смотри... Будешь вести себя плохо, то же произойдет и с тобой. Придут эти двое и уведут тебя...

Хаймек вовсе не собирался вести себя плохо. Но от этих слов он все равно содрогнулся. И той же ночью, едва он успел уснуть, они за ним пришли. И повели в участок. За что? Во сне, по крайней мере, он этого не знал. Сначала был коридор, стены которого сочились холодом, затем он и полицейские стали подниматься по лестнице, этаж за этажом, пока не добрались до узкого входа. Его втолкнули в эту дыру – так оказался он в просторном зале с глухими стенами без окон. На одной из стен мальчик увидел две короткие дубинки, которые, казалось, только и дожидались его, Хаймека. И не успел он приглядеть безопасного местечка, как дубинки соскочили с гвоздя, на котором висели, и набросились на него, обрушивая за ударом удар... Хаймек бросился бежать. Он бежал очень быстро. Но куда там! Дубинки настигали его повсюду. Удар следовал за ударом. И так продолжалось до тех пор, пока он без сил не упал на пол. Упал, закрыл голову руками и зарыдал... Ожидая новых ударов, он вздрагивал всем телом. И вдруг сильные теплые руки, пахнувшие маком, подняли и понесли его через расступившуюся стену туда, где светило яркое солнце.

Это были руки его отца.

3

Ну и еще был случай, когда Хаймеку – не во сне, а очень даже наяву, довелось испытать на себе крепость отцовской руки. Дело было так. Он, Хаймек, играл с соседской девочкой, Цвией. Играли они в «доктора и больного». За этим занятием и застал их папа Хаймека. Они с Цвией забрались под повозку Стефана, дворника. И на Хаймеке, и на Цвие была новая одежда, но это их не остановило. Почему новая одежда? Очень просто. В этот день, первого сентября, дети должны были в первый раз в своей жизни пойти в школу. Но утром началась война. На Цвие было коричневое бархатное платье, и Хаймек то и дело проводил пальцем по его складкам. Потом они договорились, что Хаймек в этот раз будет доктором, и они устроились между передними колесами повозки. Цвия добросовестно изображала больную. Она лежала неподвижно, глядя на Хаймека своими огромными черными глазами, и не сказала ни слова, когда доктор стал стягивать с нее трусики. Хаймек уже знал, что девочки отличаются от мальчиков, но у него не было случая изучить это различие более детально. Он много размышлял по этому поводу. Почему-то именно этот вопрос очень занимал его...

Цвия доверчиво смотрела на Хаймека. У мальчика сильно билось сердце. «Хорошо, – подумал он, – что именно сегодня началась эта война, очень удачно. Папа казался страшно озабоченным. Может быть он в поднявшейся суматохе забудет обо мне?»

Но вышло иначе. Сильная папина рука с твердыми ногтями нашла его под телегой и медленно потянула наружу. Мальчику казалось, что у его папы не руки, а клещи. «Если он все-таки вытащит меня, то, наверное, убьет», – как-то безразлично думал мальчик. Краем глаза он видел искаженное гневом лицо своего отца, непреодолимая сила продолжала тащить его из-под телеги. Хаймеку было очень больно. Ему казалось, что его рука вот-вот оторвется от туловища. «Неужели папа оторвет мне руку?» – думал он.

О Цвие он даже не вспомнил...

Между двумя перегородками в спальне стояла широкая кровать, на которую он и был брошен. Под мышкой он ощущал странное жжение, но не произнес ни слова. Он весь утонул в пуховой перине; теплая волна окутала его. Он вспомнил субботние утренние часы. Он лежит на этой самой кровати между мамой и папой, облаченными в свои ночные рубашки... Почему-то именно в этот момент он вспомнил о Цвие. Твердые ногти отца причиняли ему боль. Отец лихорадочно расстегивал пуговицы на его штанишках. Теперь у Хаймека огнем горела вся рука – та, за которую отец вытащил его из-под телеги. «Сейчас мне достанется», – подумал мальчик, – «он будет меня пороть». Он подумал об этом так, словно речь шла о каком-то другом, совсем ему незнакомом Хаймеке. Тем временем папины руки до половины стащили с Хаймека штаны, и сотни холодных муравьев побежали у него по спине прямо на обнаженный зад. Ничего такого уж абсолютно нового в этих ощущениях не было – Хаймека порол и раньше. Особенно верил в целительность и действенность этой воспитательной меры раввин в хедере. Но и папа, судя по всему, целиком был с ним согласен. Розовые ягодицы Хаймека в момент порки становились почему-то белыми, как мел. «Интересно, каким ремнем его сегодня накажет отец?» – думал мальчик, машинально пытаясь прикрыть голый зад руками. «И вообще непонятно, из-за чего он так сегодня рассердился? Я ведь, кажется, не успел сделать ничего плохого». В эти минуты он ненавидел своего отца. «Пользуется тем, что он взрослый». И еще одна мысль промелькнула у него в голове: хорошо, что в эту минуту его не видит Цвия. Не видит своего доктора...

4

И еще о папиных руках. Как однажды они вытащили Хаймека из церковной купели. Из желтой воды для крещения.

Залезть в купель уговорил Хаймека Стас, сын дворника. Признаем: Хаймек завидовал Стасу. Да и кто бы не позавидовал – отец Стаса частенько разрешал сыну не только подержать свою метлу, но и провести ею по блестящим булыжникам во дворе. Хаймек отдал бы все свои пуговицы, которые он собрал, нашел, выиграл или выменял за то, чтобы хоть раз подержать в руках настоящую дворницкую метлу. Можно было бы однажды просто попросить об этом дворника... но тот был столь величествен, столь огромен, а его усы были настолько великолепы... словом, Хаймек, есть основания полагать, никогда так и не решился бы на такой отчаянный шаг.

Как полагается, в праздничные и воскресные дни Стаса водили в костел. Его обряжали в синий костюм с длинными брюками, подвернутыми выше щиколоток, затем дворничиха тщательно расчесывала ему золотистые волосы, оставляя посередине белый пробор, после чего все дворницкое семейство под колокольный звон присоединялось к другим христианам, которые, словно ручейки, образующие, в конце концов, реку, неторопливо текли по улице – Хаймек до самой смерти будет помнить пронзающий небесную синь острый шпиль, венчающий квадратную башню с крестами на каждом углу, в дополнение к тому, что завершал сам шпиль – Хаймеку казалось почему-то, что центральный крест похож на отполированный кинжал, вонзившийся в голубую плоть неба. Да, внешний вид католического костела Хаймек видел ежедневно – удивительно ли, что он запомнил его навсегда? Но вот того, что находилось внутри – этого Хаймек не видел, не знал, да и знать не мог, разве что мог попытаться нарисовать внутреннее убранство костела в своем воображении. Или увидеть во сне.

Он увидел во сне.

Во сне он увидел уходящие в небо каменные своды собора. Увидел католических священников, ксендзов, расхаживающих в длинных черных сутанах, перебирая бледными пальцами сухо постукивающие янтарные четки. Ему казалось даже, что после рассказов Стаса он воочию видит даже саму купель – бассейн для крещения и желтую воду в нем, очень похожую на ту воду, что он и вправду видел в микве⁴ – с той только разницей, что добрые католики входили в бассейн для крещения совершенно обнаженные, и женщины не были отделены от мужчин. Точно так же – нагие и вместе шли они после пребывания в бассейне, садились голышом на мраморный пол и ели крутые, крашеные в красный цвет яйца. Хаймек пытался все это представить – мысленно, но как можно более явственно. Вот он, Хаймек, идет вслед за Стасом. Раздевается. Идет к бассейну. А теперь он входит в воду – и тут же белая рука ксендза окунает его в воду цвета янтаря. Хаймек проделывает все эти процедуры с закрытыми глазами, а когда открывает их, обнаруживает, что окружен со всех сторон красивыми, абсолютно голыми женщинами – длинные волосы вились у них по плечам, обнаженные руки касались его тела. Они подходили к нему все ближе и ближе. Чтобы остановить их, Хаймек заявил: «Я хочу попробовать свиного мяса!» И тут же служка принес откуда-то большое деревянное блюдо, полное жареной свинины. Женщины придвинулись еще ближе. Хаймек почувствовал неизвестное ему ранее очень сильное возбуждение, но вот что именно явилось причиной этого возбуждения, аромат ли жареной свинины или перебивающий его запах, исходивший от окружающих его обнаженных женщин, кивавших ему красивыми своими головами и говоривших ласково: «Ешь, Хаймек, ешь», – этого он не понял. Внезапно появился отец, и Хаймек, к вели-

⁴ Бассейн для ритуальных омовений.

чайшему своему стыду, голый, как при появлении на свет, был вытащен отцом на всеобщее обозрение...

Глава третья

1

В час, точно определенный приказом немецких властей, мальчик и вся его семья покинули свой дом. Закрыли его на ключ, подхватили тюки и свертки и присоединились к толпе евреев, которые тащились по вымощенной булыжником дороге, пересекавшей городок из конца в конец. То здесь, то там взгляд мальчика выхватывал из толпы знакомые лица соучеников по хедеру. Никто из них не улыбался, никому из них не суждено было вернуться. Сгребаясь под тяжестью поклажи, слишком для них тяжелой, семи и восьмилетние дети шли, сторбившись, похожие на маленьких старичков, стараясь быть поближе к полам отцовских сюртуков. Их пейсы, недавно еще такие вьющиеся и длинные, были сейчас накоротко острижены, обнажив бледноватую голубизну висков. Над скорбной этой процессией стояла тяжелая тишина. «Как на похоронах», – подумал Хаймек. С той только разницей, что не слышно было позвякивания монет в кружках для пожертвований. Изредка эта тишина нарушалась лишь бряцанием винтовок – то немецкие солдаты стояли на тротуарах по обе стороны дороги на равных расстояниях друг от друга: ноги на ширине плеч, каски, мундиры, сапоги, винтовки. Мальчик старался даже не глядеть в их сторону, ему было страшно. Чтобы было не так страшно, он начал считать шаги от одной пары сапог до другой. Нет-нет, да и решался он взглянуть чуть выше – и тогда все начинало повторяться, как в плохом сне: сапоги, мундир с ярко начищенными пуговицами, винтовка, упертая прикладом в землю, серо-зеленая каска... Все живые звуки исходили оттуда.

В конце городка провели первую селекцию, отделив мужчин от женщин, детей и стариков. Когда рослый солдат грубо толкнул папу в сторону, мама рванулась к нему.

– Яков! – крикнула она. – Не уходи! Здесь дети!..

Папа обернулся, нашел взглядом белое лицо жены и, ничего не помня, бросился обратно, но уже через несколько шагов наткнулся грудью на штык. Штык надавил, потом еще сильнее... Повесив голову, папа отступил назад, где смешался с другими отцами и вскоре мальчик не мог уж его различить в толпе отчаявшихся мужчин.

Один из солдат посмотрел на маму мальчика и спросил ее что-то по-немецки. Мама покачала головой. Солдат знаками показал им, что надо положить вещи на землю и снять с себя одежду. Мама замерла и стояла неподвижно. Хаймек стоял рядом, ничего не понимая. Но потом увидел, как люди вокруг стали раздеваться – сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Через несколько минут кое-кто стоял уже без обуви, другие остановились, не решаясь снять нижнее белье. Появился откуда-то еще один немец, видимо, старший по чину. Он ругался хриплым прокуренным голосом. «Шнель! – кричал он угрожающе. – Шнель, юдише швайн!»

У Хаймека задрожали руки. Непослушными пальцами, торопясь изо всех сил он стал расстегивать пуговицы. При этом украдкой он поглядывал по сторонам. Ему пришла в голову мысль, что в эту минуту где-то здесь может оказаться и Цвия. Пальцы его замерли. Но нет, Цвии нигде поблизости видно не было, и мальчику стало легче.

– Шнель! – снова раздался нестерпимо хриплый рев того, что был поглавнее, и как слабое эхо повторил за ним тот немец, что стоял к Хаймеку и его семье поближе:

– Шнель, юден...

Подгоняемые этими выкриками и командами, они оказались в просторном зале, где их построили рядами. У каждого в ногах неопрятной кучей лежали сброшенные вещи и снятая одежда. От множества обнаженных тел исходил острый запах страха.

Немцы стали методично рыться в разбросанном по земле имуществе. После чего приказали всем раскрыть рты, затем нагнуться и раздвинуть ягодицы. Все, что в глазах немцев представляло хоть какую-то ценность, они, без лишних слов и, не опускаясь до объяснений, забирали. Бабушкины серьги, к примеру, они вытащили у нее прямо из ушей.

– Это свадебный подарок моего мужа, – попыталась, было отстоять свои права бабушка, но ее даже никто не выслушал. Немцы забрали все драгоценности, кроме обручального кольца на пальце у мамы, да и то лишь потому, что его прикрыла своим платьем Ханночка, которую мама держала на руке. Когда немцы двинулись дальше, мама задумчиво произнесла:

– Кто знает... может быть благодаря этому кольцу мы встретимся с папой...

«Вот хорошо бы», – подумал Хаймек.

Обыск подошел к концу.

«Всем одеться и занять свои места с вещами», – прозвучала команда. И все вернулись на свои места. К своим разбросанным тюкам и разоренным сверткам. Повсюду картина была одна и та же: груды, горы простыней, подушек и перин. Трясущимися руками бабушка стала перебирать валявшиеся в беспорядке пожитки; нащупала горку накрахмаленного постельного белья, запустила руки глубже, еще глубже... Горестный крик ее, похожий на стон, повис в воздухе.

– Подсвечники! Мои подсвечники! Люди, что это творится! Они забрали мои серебряные пасхальные подсвечники... Ой-ва-вой, столько лет, сколько я помню себя, они были у нас в доме – а теперь их нет!

Бабушка пыталась заглянуть то в одно лицо, то в другое... но кого интересовали в эту минуту пасхальные подсвечники какой-то старухи. Люди равнодушно смотрели перед собой, механически покачивая головами. И бабушка умолкла.

В эту минуту жалость к ней переполняла сердце мальчика. Всегда такая независимая, гордая, властная, бабушка выглядела сейчас одинокой, потерянной и жалкой. Съехавший на сторону парик обнажил ее седую стриженую голову, всю в розоватых проплешинах, осиротелые, без всегдашних сережек уши казались поразительно голыми. Хаймеку захотелось вдруг взять бабушкину руку, взять и погладить, и сказать ей какие-то ласковые слова, способные утешить в ее беде старую женщину... но никаких таких слов Хаймек придумать не мог. И тогда, тихо вздохнув, он занялся делами. Все имущество семьи так и валялось перед ним на земле в самом непотребном и жалком виде. А он, что ни говори, был в эту минуту единственным в семье мужчиной, и эта забота досталась теперь на его долю. Он вспомнил, что делал в таких случаях его отец и стал складывать разбросанные вещи в узлы в большем или меньшем порядке, оставляя свободные концы таким образом, чтобы их можно было завязать, стянув крест-накрест. Напрягая все свои слабые силы, он тянул, и тянул, и тянул, завязывая бесчисленные, как ему казалось, узлы, пока все пожитки не оказались вновь упакованными – не так, разумеется, как раньше, но все же... От чрезмерного напряжения ноги у него дрожали, но он был доволен. Он распрямился, помахал руками и сказал так, как, по его мнению, сказал бы папа – коротко, деловито и сухо:

– Ну, вот и все. Бабушка, вот этот сверток тебе. Этот – твой, мама. А этот (он показал на самый большой тюк), это мне.

Мама улыбнулась сквозь слезы слабой улыбкой и сказала:

– Тебе с ним не справиться, Хаймек.

Мальчик выпятил узкую грудь и произнес по возможности более низким голосом:

– Справлюсь. Вот увидишь.

Он согнулся, упершись ногами в расщелину между двумя большими камнями, чтобы не потерять равновесие и попробовал потянуть узел так, чтобы, оторвав его от земли, одним рывком забросить его за спину. Попробовал. Тюк слабо шевельнулся и остался на месте. Он еще раз потянул его изо всех сил слабыми руками, ощущая в паху и мышцах нарастающую

боль. Поклажа не поддавалась. Тогда он попробовал еще раз. С тем же результатом. После чего он нагнулся к огромному узлу и сказал ему совсем тихо:

– Ну что же ты... Ты ведь видишь, что папы нет... мама держит на руках Ханночку, а у бабушки забрали ее сережки. У всех горе, а еще тут ты... Прошу тебя, не упрямься, а помоги мне забросить тебя на спину.

И он снова вцепился в узел.

– Ну что ты там, Хаймек, копаешься, – услышал он недовольный голос мамы. – Долго ты еще собираешься возиться? Пора двигаться, немцы очень сердятся.

По спине мальчика бежал пот.

– Сейчас, – сказал он охрипшим голосом. – Сейчас, мама. Всего одну минуточку...

И он набрал воздуха в грудь. Рванул... еще бы чуть-чуть... И тогда, распрямившись, он начал молотить непомерный сверток своими детскими кулаками и даже пнул его несколько раз ботинком. Бессильные слезы сами собой потекли из его глаз. «Нельзя плакать, – приказал он сам себе. – Папа никогда не плачет. Могло ли случиться что-то такое, чтобы он заплакал».

И тут Хаймек вспомнил. Вспомнил об этом, бросив случайный взгляд на Ханночку. Тот единственный раз, когда он видел отцовские слезы. Это был день, когда мама родила Ханночку. Да, да... Мама кричала жутким голосом из-за закрытых дверей. А папа стоит возле своей кровати, сгибаясь и разгибаясь в благодарственной молитве. И слезы рекой текут по его лицу.

Вспомнив об этом, мальчик почувствовал облегчение. Он стоял неподвижно, а ручейки слез, утешая его, катились по его щекам.

2

Подошел немец. В его взгляде не было ничего хорошего.

– Шнель, юден, – сказал он и махнул рукой куда-то вдаль. – Шнель...

Мальчик украдкой утер слезы уголком одеяла и снова стал примеряться к большому узлу. Заметив это, немец небрежно оттолкнул Хаймека в сторону. Мальчик рванулся было обратно, но мама, ухватив за рукав, притянула его к себе.

– Но узел... – протестовал Хаймек. Там ведь все наши вещи.

– Оставь его, – сказала мама. – Знаешь, что говорит немец? Что все эти вещи нам вскоре вовсе не понадобятся.

Немец, прислушивавшийся к маминому голосу, похоже, что-то понял. Во всяком случае, он разразился длинной-предлинной фразой, в которой Хаймек дважды разобрал уже известное ему раньше слово «капут». Невольно он втянул голову в плечи и ощутил странную покорность. Он уже понял, что имеют в виду немецкие солдаты, когда произносят слово «капут».

Невдалеке протрещали автоматные очереди. Бабушка подняла голову и, подойдя к маме Хаймека вплотную, спросила с напором:

– Что? Стреляют? Дочка, объясни, что все это значит?

Мальчик удивился этому вопросу. Даже он в свои семь лет знал, «что все это значит». Это означало, что какому-то бедолаге и в самом деле пришел «капут»... И снова медленно плелись они меж рядами одетых в полевую форму солдат: шли, тесно прижавшись друг к другу, мама с Ханночкой посередине, а Хаймек и бабушка по обе стороны от них. У Ханночки было хорошее настроение, она то и дело смеялась, стараясь поймать зайчик от золотого зуба у мамы во рту. Хаймек брел, опустив голову. Он видел вокруг себя только шагающие ноги, бесчисленные ноги, ноги повсюду, куда ни доставал его взгляд, ноги, которые, казалось, жили своей собственной, самостоятельной жизнью... Ноги шли то, делая широкие шаги, то, перебирая мелко-мелко, одни загребали и шаркали, поднимая облако пыли, другие топали, одни двигались тяжело, словно из последних сил, другие словно летели, маленькие детские ноги даже порой скакали, словно радуясь представившейся возможности порезвиться, возможности, на

которую они, похоже, не рассчитывали в этот день. И так шаг за шагом, уводящими их все дальше и дальше от привычных и родных мест, навстречу неизвестной никому судьбе.

В конце концов, они добрались до развилки дорог. И тут случилось нечто странное. Немцы, сопровождавшие их, внезапно исчезли, словно растворились по дороге. Как раз в эту минуту мимо их группки прошла – и тоже исчезла последняя шеренга солдат. Мама поймала взгляд немца, шедшего самым последним и с растерянностью в голосе крикнула вдогонку:

– А мы? А нам куда идти?

Солдат обернулся, посмотрел на женщину с ребенком, мальчика и старуху и ответил, не останавливаясь:

– Куда хотите... убирайтесь, куда хотите. И постарайтесь, чтобы никто не увидел ваших еврейских физиономий...

Так перевела слова солдата мама. И тут же, набравшись смелости и не выпуская Ханночку из рук, в два шага догнала уже ушедшего было вперед немца и придержала его за рукав.

– А мой муж? – кротко спросила она. Ради Бога, скажите, что с ним сделали?

Немец процедил в ответ нечто такое, от чего мамино лицо покрылось густым румянцем. Когда спина немца удалилась на достаточное расстояние, мама, в ответ на непрерывные расспросы Хаймека, коротко ответила:

– Солдат утверждает, что все мужчины живы. Их обыскали – и отпустили.

И в ту же минуту они увидели толпу мужчин и среди них – своего папу. Он стоял на противоположной стороне дороги, метрах в десяти от развилки в большой группе таких же, как он, евреев, причем вид у всех мужчин был скорее озадаченным, чем радостным. Они растерянно глядели по сторонам, не до конца понимая, где они и что с ними. Не теряя ни минуты, мама, а за нею и Хаймек стали размахивать руками, стараясь привлечь к себе внимание. Тщетно. Тогда Хаймек выбежал на середину дороги и закричал, что было сил: «Папа! Папа!...»

Но многие вокруг звали своих отцов и многие, если не все махали руками – откуда папа Хаймека мог знать, что эти крики относятся и к нему тоже. Он стоял отрешенно и глядел прямо перед собой. Губы его шевелились, туловище раскачивалось...

– Яков!... Я-а-ков, – в отчаянии закричала мама, поднимая Ханночку над головой. – Яков!... Мы здесь...

Пронзительный голос мамы заставил отца очнуться. Он взглянул налево, затем направо... и увидел всю свою семью: Хаймека, стоящего посреди дороги, Ханночку, которую мама уже держала над головой на вытянутых руках, и саму маму, покрасневшую от усилий... Не веря собственным глазам, он смотрел на всех них несколько мгновений, затем прихватил полы сюртука в левую руку так, что видны стали цыцы – кисти малого талеса, как-то странно подпрыгнул и ринулся через дорогу. Он передвигался прыжками. Один прыжок, другой... И вот он уже прижимает к себе маму, и подросшего Хаймека, целует Ханночку, бабушку... а потом долго, не отрываясь, глядит в нежные, налитые слезами, глаза жены. Хаймек, прижавшись к отцовской ноге, всей грудью вдыхает такой знакомый ему запах папиного тела, в то время как Ханночка, обняв отцовскую шею руками, щебечет словно птица: «Па-па, папа...» Хаймек, тем временем, наматывает кисти отцовского талеса на пальцы...

Влажные от слез мамины глаза сияют. Не понять – плачет она или улыбается. Словно искра блестит между полных губ золотая мамина коронка. Никто не произносит ни слова. Потом бабушка расправляет плечи.

– Слава Богу, Яков, что ты вернулся. Без тебя... нам было так плохо. Что я хочу тебе сказать, Яков... мой муж, благословенна его память, никогда так со мной не поступил бы. Нет, ты не возражай! Но нельзя просто так бросать женщин и детей. Упаси Бог, я тебя ни в чем не обвиняю, но... я должна сказать... из-за твоего сына...

– Мама, перестань!

– Нет, я скажу. Из-за твоего сына мы потеряли самый большой узел. А знаешь, что там было? Льяные простыни там были, мои льяные простыни, и не только они. Там было еще два покрывала. Я знаю, ты называешь своего сына сокровищем. Так вот, из-за этого сокровища...

– Мама, прошу тебя...

Бабушкина грудь вздымается. Гнев ее праведен. Льяные простыни!

Хаймек весь дрожал от ярости. «Ябеда противная, – подумал он, – Простыни ей жаль, а больше ничего. А он-то еще посочувствовал ей, когда немцы забрали бабушкины серьги. Так ей и надо, жадине. Не то еще ей будет. Вот возьму и выброшу ночью ее парик. Пусть ходит простоволосой!»

Он придумал бы еще не то, если бы не примиряющий мамин голос: «Не нужно так говорить. Хаймек... я хочу, чтобы ты знал, Яков, Хаймек вел себя, как настоящий мужчина. Старался сделать все, что мог. Как сделал бы ты сам. Правильно я говорю, мой мальчик?»

Хаймек посмотрел на маму с благодарностью и кивнул. Папа глядел на сына с гордостью и любовью. Вслух он сказал:

– Есть из-за чего расстраиваться. Вы бы видели, сколько всякого добра побросали по дороге люди. А тот узел, что был у меня? От него ничего не осталось. Возблагодарим Бога за то, что мы живы и снова вместе. Господь всемогущ, жалостлив и милосерден. Уж как-нибудь он позаботится о наших пакетах...

Хаймек, не отрываясь, смотрел на своего папу. Никогда прежде не думал он, что его папа может выглядеть так потерянно и жалко. Широкая спина его была согнута, густая борода исчезла, и даже шляпа имела какой-то подавленный вид. Только сейчас он увидел, сколько седины появилось у отца на висках. Увидел он также и широкий красный рубец на отцовской щеке, похожий на след от удара плеткой. Руки отца, всегда такие уверенные и надежные, сейчас все время вздрагивали, черные глаза утратили всегдашний живой блеск, белки глаз были испещрены красными прожилками. Мальчику очень хотелось расспросить отца, что происходило с ним в эти последние часы, и он уже совсем собрался было потянуть отца за рукав, но тут увидел устремленный на него сверху вниз тоскливый, полный отчаяния и страха взгляд, какого не видел раньше никогда. И проглотив вертевшийся на кончике языка вопрос, Хаймек вместо этого молча и бережно погладил отцовский рукав, не сказав ни слова.

– Я должен поблагодарить Бога молитвой избавившегося от опасности, – сказал папа, отступив от мамы на шаг, после чего вытер ботинки о землю и произнес нараспев:

– Барух Ата Адонай Элогейну Мелех хаолам хагомель лахаявим товот шегмалани коль тов⁵...

– Амен, – вставила бабушка, тут же добавив, – ми шегмалани коль тов...

Где-то невдалеке послышались выстрелы. Мальчик прижался к отцу и прошептал: «Папа... уйдем отсюда...» Но отец Хаймека даже не двинулся с места. Он погрозил сыну пальцем и строго сказал:

– Я еще не закончил молитву.

Тем временем до них донеслись звуки, заставившие мальчика похолодеть. Это были крики избиваемых немцами людей и громкие стоны раненых.

Папа продолжал молиться.

Весь дрожа, мальчик посмотрел на маму. Ее лицо, обычно смуглое, сейчас было бледным, почти белым. Похоже, она не знала, как ей поступить. Внезапно она решилась. Выставив перед собой Ханночку, она вплотную подошла к папе и сказала срывающимся голосом:

– Немцы приближаются, Яков. Если мы не уйдем сейчас же, тебе будет не до молитв. Хватит уже.

⁵ Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, творящий добро даже грешным, – за то, что Ты отнесся ко мне благосклонно. (*иврит*)

– Но я еще не закончил, – сказал папа.

– Ничего. Бог тебя подождет...

Папа перестал читать молитву и поднял глаза к небу. Хаймек испугался. «Как это мама может так говорить: «Бог тебя подождет...» А что, если Бог рассердится на маму? И накажет всех нас?» Потом он подумал: «А может быть, мама не боится Бога и того, что он может рассердиться?»

Папа стоял в раздумье. Потом опустил голову, вздохнул и сказал:

– Хорошо. Пошли.

Едва они тронулись, раздался решительный голос бабушки:

– Пошли... А куда – «пошли?»

Остановившись, папа и мама произнесли одновременно:

– В Варшаву (это сказал папа).

– На границу. К русским, – мамин голос звучал так, как если бы она давно уже решила про себя этот вопрос.

Бабушка переводила взгляд с дочери на зятя.

– Все идут в Варшаву, – сказал папа. – Все. И мы тоже пойдем в Варшаву.

– Варшава большая, – сказала мама. – Мы с детьми будем жить на площади?

– Мы не будем жить на площади, – сказал папа. – Мы будем жить с моим отцом... пока не минует опасность...

Хаймек, который вертелся у взрослых под ногами, чуть не подпрыгнул от радости. Жить вместе с бабушкой! Ничего лучшего Хаймек не мог и представить. Он подпрыгнул, как козленок, захлопал в ладоши и крикнул:

– Хочу к бабушке!

– В Варшаве не только твои родные, – бабушкиным голосом сказала мама. – Немцы тоже в Варшаве. Мы идем к русским.

– Идти надо в Варшаву, – упрямо повторил папа.

– Дочка, прислушайся к голосу своего мужа, – неожиданно подала свой голос бабушка. –

В семье все решает мужчина. Так написано в Торе.

– К бабушке, – заныл Хаймек. – У него так хорошо, мама...

Мама стояла, напряженная, как струна. Голос ее был тих, но непреклонен.

– Мы идем на границу. К русским.

Некоторое время все стояли молча. Ханночка уснула. Потом мама подхватила свой узелок и, не произнося больше ни слова, двинулась туда, где на указателе дорог было написано: «Остров-Мазовецкий». Там в эти дни проходила граница между немцами и Россией.

3

Бесчисленные толпы беженцев шли по дороге. Дорога была широкой и уходила вдаль. Слева и справа от дороги были широкие канавы, кюветы, дальше лежала вспаханная земля полей. Иногда, слышав гул пролетающих самолетов, беженцы разбегались, кто куда. Одни падали прямо на обочину, другие ложились на дно канавы, закрыв лицо руками, третьи в поисках убежища, бросались в поле... Но эти жалкие фигурки далеко внизу, похоже, не интересовали летчиков, и не им был предназначен подвешенный под крыльями смертоносный груз. Самолеты тяжело пролетали мимо, а люди снова сбивались в толпы и продолжали свой путь.

Никогда еще Хаймек не ходил так подолгу. С непривычки он сбил ноги и они кровоточили. Из разорвавшихся ботинок торчали пальцы, которые, соприкасаясь с песком и щебнем дороги, горели адским пламенем. Каждый шаг причинял мальчику непереносимую боль. Сколько еще могла продолжаться эта пытка? Дорога казалась бесконечной. И все это время его не оставлял неясный страх. Он не мог понять, откуда этот страх взялся, и что он означает. Небо

над головами беженцев то пытались спалить их заживо раскаленными лучами, то, нахмурясь, пугало грозowymi тучами. Иногда тучи проливались на измученных людей проливными ливнями. Когда было сухо, мальчик шел окутанный облаком пыли, а после дождя шел в облаке пара, подымавшегося от сохнувшей прямо на нем одежды. Иногда посреди дороги возникали глубокие лужи, и мальчик проваливался в темную грязную воду, на дне которой острые камни только и дожидались возможности впитаться ему в израненные ноги. А вокруг простирались уходящие за горизонт молчаливые и загадочные поля, сочившиеся избыточной влагой. То здесь, то там встречались вывернутые с корнем деревья. Те же, что уцелели благодаря мощным стволам так и стояли поодиночке. К некоторым, истекавшим соком березам, были прикреплены большие жестяные кружки, в которых собравшийся сок уже переливался через край.

Это был мир, с которым Хаймек ранее никогда не сталкивался, и мир этот внушал мальчику одновременно и интерес и ужас. Что произошло с этим миром? И что ожидает его и его семью, которую неведомые ему силы внезапно выбросили в этот мир? И что все происходящее вокруг вообще означает?

Ответы на все эти вопросы могли знать только взрослые. Его папа, например. «Надо спросить его», – подумал мальчик и посмотрел на отца. Тот шагал неподалеку, непохожий сам на себя. Идет себе, глядя под ноги, и непрерывно читает молитвы. Как и полагается правоверному хасиду – начиная путь, даже после самого короткого отдыха, возносить молитву, обращенную к небу. Как-то, остановившись, отец сказал мальчику:

– Я знаю, о чем ты думаешь, сынок. А теперь послушай меня. Взгляни на этот мир, что окружает нас. Это дело рук Творца. За семью небесными сферами сидит он на божьем своем престоле, выше всех, над серафимами восседает он и над ангелами, и видит все, что происходит в мире людей и животных. С высоты своего престола посылает он доверенных и уполномоченных ангелов своих, чтобы они поддерживали необходимый порядок здесь, внизу, смотрели бы за тем, чтобы цветы цвели, а деревья плодоносили, чтобы из праха земного поднималась густая трава под лучами солнца, и чтобы мрак не покрывал земные пространства, а своевременно чередовался со светом. Так, сын мой, глаз всевышнего, да будет он благословен, надзирает за миром этим и порядком в этом мире. И все, что есть в сотворенном божьем мире, дает нам пример порядка и правила: все так, как и должно быть.

Всем своим существом мальчик чувствовал, что, говоря это, его отец ни на мгновение не сомневался в своих словах. Бог, всемилостивый и всемогущий, знает лучше всех смысл того, что происходит. Если человеку, живущему на земле, что-то непонятно, то происходит это потому лишь, что никому не дано проникнуть в замыслы Творца. И мальчик, шагая по дороге стертymi в кровь ногами, тоже по-своему молился и взывал к милости того, кого он называл «святым царем царей». И обо всем, что занимало его, он извещал в очередной, придуманной прямо на ходу молитве.

– Святой царь царей, – начинал он обычно с благоговением и доверчивостью поглядывая на небеса, – святой царь царей... не могу ли я попросить тебя знаешь о чем? Чтобы твои ангелы не напускали на нас такое количество дождей. Я просто не успеваю обсохнуть и мне все время холодно. И папе тоже. Я видел, что когда он кашляет, на его платке пятна крови. И Ханночка стала кашлять... все кашляет да кашляет, а ведь она такая малышка. Сделай, пожалуйста, так, чтобы твой ангел привел нас к какой-нибудь крестьянской избе. И чтобы мы понравились хозяину этой избы – ведь если мы понравимся, он угостит нас кружкой горячего молока, даст кусок хлеба и немного картошки...

Мальчик догадывался, что не только он обращается в эту минуту к небесному владыке с подобной просьбой. А потому, словно боясь, что чересчур долгая молитва не будет там, наверху, дослушана до конца, наскоро закончил свою молитву словами: «Благословен ты, Господь, выслушавший мою молитву...»

В эти дни все чаще заводила свои разговоры бабушка. Мальчик видел, что старая женщина держалась из последних сил. Может быть поэтому говорила она так громко и резко. Все вокруг раздражало и злило ее. И, несмотря на то, что слова бабушки были обращены не к Хаймеку, разумеется, а к его родителям, каждый раз при звуках бабушкиного голоса он вздрагивал и пугался. Как-то раз бабушка остановилась прямо посреди дороги и заявила более решительно, чем обычно:

– Ну, все. Мне кажется, что наша прогулка затянулась. Я хочу вернуться домой.

– Ох! – сказала мама Хаймека. – Ради Бога, не начинай все сначала. Мы не гуляем. Мы спасаемся. Мы спасаем семью и детей.

– Я хочу домой, – сказала бабушка. – Домой, ты меня слышишь?

– Я тебя слышу, – сказала мама Хаймека. – Но дома у нас больше нет. Немцы выгнали нас из нашего дома и возвращаться нам некуда. Мы идем, чтобы найти себе новый дом.

И она сделала несколько шагов. Увидев это, бабушка подошла к отцу мальчика и сказала ему таинственным шепотом:

– Яков, слушай... Там, в нашем старом доме, я спрятала доллары. Много долларов. Очень много. Пойдем обратно, и я дам тебе половину. И не надо меня обманывать, будто ты хочешь отказаться от денег. Ты сможешь вложить эти деньги в дело, сможешь расширить лавку. Ты думаешь, что я сошла с ума? Я все соображаю еще, Яков. Но я хочу домой. А ты... ты сможешь нанять портных, и они будут шить тебе модные пальто. Идем же обратно.

Но папа ничего не ответил бабушке. Он только смотрел на нее, как не смотрел никогда. Смотрел и гладил по руке, а потом обнял за плечи и потянул за собой. И бабушка, уронив голову, покорно пошла за ним, словно смирившись навсегда.

Но она не смирилась. Следующий раз она уже не заводила разговоры о долларах, она говорила о том, что разрешает Тора делать правоверному еврею по субботам, а что нет.

Она сказала:

– В Торе точно указано, сколько может еврей ходить в субботний день, а сколько нет. Мы перешли уже все допустимые пределы, Яков. Я молюсь не так часто, как ты, но я тоже знаю, что можно еврею, а что нет. И больше сегодня не сделаю ни шага. Ибо сегодня и есть суббота, святой день. Вот до того дерева, Яков, я иду, а дальше ни шагу. Если хотите, можете меня бросить прямо здесь.

– Ну, что вы, мама...

Хаймек видел, что папа озадачен. Он сел на землю рядом с бабушкой. Взял ее руки в свои и снова стал поглаживать. Мама стояла неподалеку, выпрямившись во весь рост. Запавшими глазами она смотрела туда, куда им надо было еще прийти. Ханночка на ее руках закашлялась. Папа мягким голосом говорил бабушке о том, что их новый дом совсем уже близко. И что господь велик, и что сделать несколько лишних шагов в субботу – это простительный грех.

– Яков, – сказала бабушка устало, – Яков. Не дурачь меня, Яков. И не обманывай себя. Все, что я хочу, это домой. Ты слышишь меня, Яков? Домой. Прямо сейчас. Когда я увижу твоего отца, я расскажу ему, как ты со мной обращался.

Она с трудом поднялась на ноги и сказала дочери:

– Идем. Идем со мной. Посмотри на дитя свое. Девочке нужны тепло и пища. Если с ребенком не дай Бог что-нибудь случится, ты не простишь себе. Почему ты молчишь? Ты слышишь меня? Если Яков, твой муж, хочет идти дальше, пусть идет. А я не хочу мучаться потом из-за его грехов.

С неба, задернутого тяжелыми тучами, стал накрапывать дождь. Вся семья прижалась к огромному стволу, надеясь, что густая листва хоть как-то защитит их. То и дело они обращали свои взоры вверх, надеясь разглядеть хоть клочки светлеющего неба. Но небо еще только больше темнело, а капли становились все крупнее и тяжелее. Струйки воды постепенно превращались в ручейки, те – в ручьи, а ручьи – в потоки, которые бурно устремлялись в овраги.

До ночи было еще далеко, но свет погас; плотная темно-серая завеса окутывала все вокруг. Внезапно небо вспыхнуло многохвостым фейерверком, после чего, как бы вдогонку, прогреготал оглушительный гром.

– Шма Исраэль, Боже всемогущий, Бог един, – услышал Хаймек голос отца, громко читающего охранительную молитву, в то время как руки его заботливо пытались укутать Ханночку в насквозь промокшее пальто. Струи дождя смывали с маминого лица слезы, когда она сказала надтреснутым голосом:

– Нечего тебе теперь докучать господу, Яков. Ему теперь не до тебя. До него теперь не докричишься...

Хаймек понял все по-своему. Он повис на отцовском плече и, всхлипывая, сказал ему в самое ухо:

– Это я виноват, папа, что Бог хочет нас наказать. Один раз я вырвал страницу из Сиддура⁶, положил внутрь сухой ореховый лист и курил... Потому-то Бог и рассердился на всех нас. Пойдем в Варшаву, пойдем к бабушке... он молится каждый день, и бабушка тоже. Они защитят нас... Пойдем к бабушке.

Шепча, он все жался к отцу, все просил. Голос мамы донесся до него сквозь шум дождя:

– Глупенький... успокойся... Бог не наказывает маленьких и слабых...

А папа не сказал Хаймеку ничего. Он только сильнее прижимал к себе Ханночку и все гладил ее по головке. Хаймек подумал вдруг, что мама не верит, будто Бог может их всех защитить. Если это так, молния, посланная с неба, должна была вот-вот ее поразить. Мальчик с ужасом посмотрел вверх. «Не делай этого, – попросил он Бога. – Она вовсе не смеется над тобой. Ты ведь такой сильный! Ты ведь Царь царей... Прости ее... ради папы, ради меня... ради Ханночки...»

И в это самое мгновение все волшебным образом переменялось. Дождь перестал, словно кто-то ножницами перерезал водяные струи. Засветило яркое солнце, запели какие-то птицы, а какая-то крохотная пичужка забегала кругами, стряхивая воду с крыльев. Вот чем ответил Бог на мамино неверие! Или на папину и его, Хаймека, веру? Он взглянул на маму, которую едва не настигло наказание, и ему стало очень ее жаль. Она была в эту минуту такая красивая, такая незащищенная... и такая жалкая. «Она боится наказания», – догадался мальчик. Подойдя к маме, он грустно посмотрел на нее и сказал:

– Мама... ты и в самом деле не боишься Его?

Мама не поняла.

– Боюсь? Кого?

– Ты знаешь кого. Бога.

– Бога? – Мамины губы сжались в злую тонкую нитку. – Если бы он был, – кощунственно произнесла она, – если бы он существовал на самом деле, мы сейчас не скитались бы холодные и голодные без крыши над головой.

Она произнесла все это громко, почти вызывая, она почти кричала и глядела при этом на папу так, словно он-то и был этот некому не видимый Бог.

– Если бы он был... – Она не договорила, но мальчик додумал это за нее. – «Тогда Ханночка не кашляла бы так, папа не харкал бы кровью, а у бабушки не болела бы так голова...»

Всего этого мама не произнесла вслух, но имела в виду она конечно же это. Ханночку мальчик очень жалел. И папу ему было жалко – каждый раз, когда он убирал в карман свой платок, на нем было все больше красного. Что же касается бабушки, тут у Хаймека были кое-какие сомнения. Бабушка, конечно, старенькая, ведь она – мамина мама. Ей, наверное, лет сто, а может и двести. Но что касается ее болезни... в последнее время мальчик не раз замечал, как, говоря о бабушке папа с мамой переглядываются и покачивают головой, но... Сама бабушка,

⁶ Сборник еврейский молитв на большую часть года.

во всяком случае, при Хаймеке. ни на что не жалуется. Да, иногда она произносит – в последнее время это случается все чаще, какие-то загадочные фразы, звучащие как заклинания или пророчества. Но ни разу прямо не сказала бабушка, что у нее что-то болит. И аппетит у нее по-прежнему хороший, ест все, что ни дадут, и картошку в мундире с солью и без соли, и все то, что мама ухитряется сварить в кастрюльке, поставленной на кирпичи.

Но что остается совершенно неизменным – это бабушкино желание вернуться домой. А кто не хотел бы? Разве это говорит о какой-то болезни? Тогда и он, Хаймек, болен. Потому что больше всего не свете он хотел бы, чтобы все было как прежде, и он мог бы поиграть сейчас с тихой, послушной Цвией, у которой такие огромные бархатные черные глаза.

Только в отличие от бабушки он никогда об этом не говорит вслух.

– Бедная бабушка, – продолжает мама прерванную на половине фразу. – Помню, когда я была совсем маленькой, она непрерывно беспокоилась обо мне. По часу, бывало, стоит у двери и кричит: «Ривочка, солнышко мое, на улице сыро... ты не забыла надеть галоши?» Я была тогда такой, как ты сейчас. По субботам и праздникам бабушка всегда брала меня с собой в синагогу. Там, в женском отделении, она любила молиться. Моего брата, Аарона, она специально послала в Палестину, чтобы он вознес молитвы на могилах праведников... попросил бы Всевышнего за тех, кто находится вне Сиона. И вот что теперь мы имеем, – заключила она горько. – Стоило ради этого тащиться так далеко...

Мальчик был до крайности удивлен мамиными речами. Никогда еще она не разговаривала с ним так. Некоторые вещи, о которых мама ему говорила, он совершенно не мог понять. То, например, что мама когда-то была маленькой. Кое-что ему было уже известно; так он знал о существовании маминого брата, дяди Аарона, который жил в Палестине. Что касается самой Палестины, то Хаймек успел узнать о ней следующее: это такая страна, далеко-далеко от Польши, где всегда светит солнце, где прямо на деревьях растут апельсины и съедобные сладкие стручки, и что главный город Палестины – Иерусалим, о котором непрерывно во всем мире вспоминают евреи, где бы они не находились. И все евреи уже много-много лет мечтают встретиться там. И когда в синагоге читают молитву об этом святом городе, они всегда заканчивают эту молитву одними и теми же словами: «В следующем году – в Иерусалиме, евреи». После чего повторяют: «В Иерусалиме, в Иерусалиме». То есть опять же в Палестине, где обосновался его дядя. Интересно было то, что о Палестине знали, похоже, не только евреи. Иначе, почему бы уличные мальчишки, завидя Хаймека, вертелись и прыгали вокруг него, норовя дернуть за пейсы и, кривляясь, кричали: «Эй, жиденок! Убирайся в свою Палестину!» Когда он был поменьше, он думал, что Палестина – это просто такое слово. И все. Но вот сейчас мама подтвердила, что Палестина – это страна, или, во всяком случае, место, где живут люди. Такие, как его дядя Аарон.

И что там скорее тепло, чем холодно.

А значит, там можно сорвать с дерева апельсин или съесть сладкий стручок.

Хаймек съел бы сейчас, пожалуй, что угодно. Он очень хотел есть.

Он открыл рот, чтобы сказать маме то, о чем он думал все последнее время: «Мы все ходим и ходим, – хотел он сказать, – а дороге не видно конца. Давай тогда свернем на ту дорогу, которая приведет нас в Палестину, где живет наш дядя Аарон. Я думаю, он даст нам поесть. Я бы просто съел большой кусок хлеба. А Ханночке досталась бы кружка молока. Папа согреется, наконец, и перестанет кашлять и выплевывать кровь. А в России, куда мы идем, ведь нет у нас ни дедушки, ни дяди».

Вот что он хотел сказать маме. Но не сказал. Мама была занята. Она хлопотала над бабушкой. У бабушки устали ноги. Мальчик подошел поближе и услышал хриплый бабушкин шепот.

– Где мои валерьяновые капли? Ой, похоже, я забыла их дома. Ривочка, дочка, принеси мне их.

– Сейчас, мама, сейчас, – говорила бабушке ее дочь. Сделав несколько шагов в сторону и повернувшись спиной, она достала из сумки бутылочку с коричневой жидкостью и капнула чуть-чуть на уголок головного платка, который и поднесла к бабушкиному лицу.

– Так ты уже побывала дома и принесла, – удовлетворенно сказала бабушка, нюхая кончик платка. – Умница ты у меня, доченька, и такая быстрая... А вот сахар ты не догадалась захватить. Ты что, забыла? Валерьяновые капли всегда принимают на сахаре. Я бы не отказалась сейчас даже просто от кусочка сахара. Ты просто забыла о сахаре, правда? Но я на тебя не сержусь, доченька, мне уже легче. И не надо бежать за этим сахаром домой, хоть ты и такая проворная. И ты хорошая... не зря из всех своих детей я выбрала тебя, чтобы жить вместе. Ты всегда была моей любимицей. Если бы ты жила, как Аарон, в Палестине, уж ты бы приехала за мной на автомобиле, чтобы мне не идти пешком. Твой муж, вот кто в этом виноват. Он настоящий злодей. Специально подстроил так, чтобы мы шли по этой дороге. Злодей из злодеев. А потому и доллары, что лежат в моем шкафу, ему не достанутся. Это мои доллары. Да, мои. Их присылают мне дети из Америки. Мне все дети присылают. Кроме одного. Того, что живет в Святой земле, чтоб ему пусто было. Мог бы прислать старой матери автомобиль с апельсинами...

Она говорила и говорила. Тем временем исчезли последние признаки недавней непогоды, что бушевала еще час назад. Вовсю светило солнце. От земли поднимался пар. Тепло проникало сквозь мокрую одежду Хаймека, и жизнь уже не казалась больше такой тяжелой. Он медленно поднялся на ноги и потащился за отцом вверх по дороге.

Глава четвертая

1

Они лежали на обочине дороги, которая подходила вплотную к пограничной полосе, отделявшей Россию от Польши. Услышав гул приближающихся самолетов, они упали ничком, прижимаясь к теплой земле, стараясь не двигаться, стать совсем незаметными. Так и лежали они, друг возле друга, словно убитые – бабушка, и папа, и мама, прикрывая собою ничего не понимающую Ханночку. Рокот самолетов то приближался и нарастал, то, стихая, удалялся. Хаймеку совсем неинтересно было лежать вот так, носом в пыли. Ему хотелось поднять голову и посмотреть в небо – что там происходит на самом деле. Он изловчился и украдкой взглянул. Небо показалось ему необыкновенно высоким и чистым. Ему вспомнился давний его сон с восхождением по лестнице Иакова, и о двери, ведущей в ад – но давние эти видения растаяли и исчезли, как тают, исчезая, пушистые облака – тают, словно их никогда и не было.

Все-таки сон о лестнице Иакова он помнил хорошо – быть может потому, что раввин описывал восхождение Иакова по лестнице, ведущей в небо долго-предолго и во всех подробностях. Особенно детально описывал ребе саму лестницу, которая была немыслимой длины и доходила до самого жилища ангелов. Да, ангелы сновали по ней вверх и вниз, и именно на ней, этой лестнице, разговаривали они с Иаковом. Хаймек дал себе слово, что когда он вырастет, то построит такую же лестницу, верх которой достанет до самых высоких облаков. И однажды ночью он начнет подниматься по перекладинам все выше и выше, пока не встретит архангела Гавриила. «Ну, что же ты хочешь, мальчик?» – спросит Хаймека тот. Не испугается и не убоится Хаймек архангела, а храбро, хотя и почтительно, ответит: «Хочу увидеть райский сад».

– Поскольку тебе не исполнилось еще тринадцати, – дружески ответит на это архангел и похлопает по спине белоснежными своими крыльями, – ты имеешь на это полное право. – После чего Хаймек взберется на плечи архангела, и тот воспарит с ним вместе, пересекая один за другим небесные своды, пока не опустится перед двумя воротами.

Хаймек знает даже сейчас, что одни ворота ведут в рай, а другие – в ад. Это было Хаймеку знакомо и понятно хотя бы из неосторожных разговоров, которые время от времени вели папа с мамой. Чаще всего это происходило ночью, когда все ложились спать. Не раз слышал Хаймек, как папа, смеясь каким-то особенным смехом, говорил маме: «Будь осторожна, Ривочка, дабы ты не погрешила ни своим сердцем, ни устами. Ведь господь не только видит зримое, но и невидимое тоже, а, кроме того, ему ведомы самые сокровенные наши мысли». На что мама отвечала (и в горле ее дрожала какая-то горошина): «Вижу, Яков, ты боишься, что из-за своих невысказанных мыслей я попаду прямо в ад. Не бойся же. Я ведь тоже знаю, что там, наверху, дверей две, и когда мы предстанем перед воротами, я как можно ласковей улыбнусь сторожевому ангелу и тихонечко проскользну вслед за тобой прямо в райский сад...»

Когда такие разговоры затевались днем, папа бросал на маму сердитый взгляд и выставлял Хаймека из комнаты. Но дверь никогда не закрывалась настолько плотно, чтобы мамин смех с горошиной в горле не был слышен Хаймеку, равно как и папины слова: «Великая грешница ты, Ривка, возлюбленная жена моя», – добавляя время от времени по тому или иному поводу: – «Это все – твоё воспитание в «Шомер-ха-Цаир».

Если Хаймек оказывался вблизи, прижимаясь, в целях безопасности, к маминому подолу, мама гладила его по щеке и говорила, адресуясь к папе: «Я уверена, что твои молитвы и заслуги моего сына, защитят меня от самого худшего. Я просто уверена в этом».

Так обстояло дело с раем. Что же касается ада... Хаймек решил сделать так: как только он окажется вблизи обоих ворот, он очень, очень вежливо обратится к архангелу с просьбой.

«Ребе Гавриил, – скажет он архангелу, – ребе Гавриил. Мне так хочется заглянуть в ту, другую дверь. Которая ведет в ад. Хотя на минуточку, ребе Гавриил, ну, пожалуйста...»

Но из этого, понимал Хаймек, скорее всего ничего не получится. «Нельзя, – так ответит ему архангел. Ад – это не место для маленьких детей. Это место – для тех, кому уже исполнилось тринадцать и старше». То есть для таких, как папа и мама, и, разумеется, бабушка, равно как и для прочих взрослых. Хаймек не раз уже слышал это выражение: «Ад – не для детей». Но если бы эти взрослые (включая, разумеется, и архангела Гавриила) знали, как ему хочется хоть одним глазком взглянуть на этот загадочный ад... гораздо, гораздо больше, чем на рай. Хаймек уже уяснил, что рай предназначен исключительно для правоверных евреев, тех, что носят бороду, пейсы и шляпу с меховой опушкой, тех, что проводят долгие часы, сидя вокруг длинного стола, раскачиваясь всем туловищем, читая бесконечные молитвы, словом тех, кто жизнь свою посвятил изучению Торы. Таких людей он видел, сколько хочешь, и когда проходил мимо ешивы, и когда отец брал его с собой в синагогу. Тут не было ничего особенного. Всем этим людям и был предназначен рай – и все. Ну, ладно, всегда можно что-то придумать. Вот, например, что: когда архангел станет приоткрывать райские ворота, он, Хаймек, чуть толкнет другие, ведущие в ад, чтобы образовалась малюсенькая щелочка. И вот в нее-то он и заглянет. И тут же закроет обратно. Честное слово. Одно только могло помешать ему исполнить свой замысел – если у него не хватит смелости. Если он испугается. Как испугался он тогда, в самом начале войны, когда загрохотали вдруг пушки, стоявшие сразу за костелом. Он проснулся в сильнейшем страхе, словно наяву ему удалось заглянуть в ту, другую дверь, пусть даже сквозь узкую-преузкую щелочку. Он проснулся весь дрожа. И тут же услышал голос:

– С этой минуты мы будем жить, как в аду.

Голос был папин, и говорил он с мамой. Хаймек весь затрясся, потому что решил – это наказание за его проступок, за то, что он тронул ворота, ведущие в ад. Он сел в своей кровати и горько заплакал. «Я не хотел, я не виноват», – повторял он сквозь слезы. Папа подошел к нему и стал гладить по волосам. «Конечно, конечно... ты не виноват. Спи, сынок, усни, успокойся. Много есть грешников в этом мире. А ты здесь не при чем...»

И теперь, бросая взгляды в просветлевшее высокое небо, Хаймек знал, что никогда ему не придется устанавливать эту лестницу, ведущую в бездонную синеву.

Но даже если бы каким-то неведомым образом ему это и удалось бы, все равно налетят немецкие самолеты и разбомбят ее.

И еще одно знал он теперь: случись так, что архангел Гавриил взял бы его с собой на самое верхнее небо, он, Хаймек, в этот раз не стал бы подглядывать ни в какие щелочки...

Только ничему этому не бывать. Никогда, ах, никогда не добраться ему до рая и никто не даст попробовать ему буйволиного мяса, равно как не доведется ему обмокнуть кусок хлеба в подливку из левиафана. А суждено ему питаться – здесь, на земле, варевом из пожухлых стеблей и кусочков гнилого картофеля, подобранных с опустелых полей.

И дорога эта никогда не кончится.

И никаких границ нигде нет.

Но виденье бесконечной лестницы, уходящей в бескрайнее небо, было в нем так сильно, что едва затих надсадный гул пролетевших «юнкеров», он спросил отца:

– Папа... а как устанавливают эту лестницу... ну, ту, очень высокую, по которой можно добраться прямо до неба?

Папа вместо ответа, отчитал его:

– Перестань болтать и лежи, не шевелясь. Сверху все очень хорошо видно, все, что происходит на земле. Самолету ничего не стоит в любую минуту вернуться. Ты понял меня? Что это?

«Это» оказалось черной машиной. Появившись неведомо откуда, она двигалась совершенно бесшумно. Это была легковая машина с откидным верхом. В этом месте дорога шла

вверх. И машина тоже двигалась вверх, хотя внутри нее никого видно не было. До тех пор, по крайней мере, пока машина не поравнялась с ними. Только тогда Хаймек сквозь траву разглядел двух немцев, которые изо всех сил толкали машину вверх по дороге. По фуражкам и погонам Хаймек понял, что это были офицеры. На руках у немцев были кожаные перчатки. Ими-то и упирались немцы в машину, которая при всех прилагаемых усилиях на подъем взбираться не хотела и еле-еле ползла.

– Папа, – сказал Хаймек с ужасом и так тихо, что отец, лежавший в глубокой канаве, возможно, его и не расслышал, – папа, на дороге немцы.

– Опустите же голову, – почти простонал папа... но было уже поздно. В этот момент немцы заметили их. Точнее будет сказать, что заметили они именно Хаймека. И вот они уже стоят над ним.

– Юде! – закричал один и показал на мальчика. Второй, взглядевшись, подтвердил:

– Юде. – И тут же оба немца увидели всех их. И папу, и маму с Ханночкой, и бабушку... Сделав несколько шагов в сторону папы, неловко выбиравшегося из канавы, немец изо всех сил пнул его в спину сапогом. Второй немец не замедлил присоединиться и стал пинать папу в бок с другой стороны, выкрикивая при этом что-то, похожее на приказ. При каждом ударе то один, то другой по очереди произносили: «Юде... Ферфлюхтер юде...»

«Какие черные и блестящие сапоги у этих немцев», – подумал Хаймек. Ему казалось, что сапоги существуют совсем отдельной жизнью, быть может независимой от этих немецких офицеров, и что они, сапоги, сами решают, что делать с лежащим на земле папой, и что они решат – то и будет, а решить они могут все, что угодно. «У них и сердце черное», – подумал мальчик. – Сейчас они нас затопчут. Они убьют нас. Всех. Сначала папу, потом меня».

«Они убьют всех нас...»

Наверное, так бы оно и случилось, Если бы не мама. Она, прижимая Ханночку к груди, тоже выползла из канавы, и теперь стояла возле папы на коленях. Потом она встала на ноги и, оказавшись лицом к лицу с немцем, сказала ему что-то по-немецки. Что-то такое, от чего черный сапог уже занесенный над папой, замер. Потом вернулся на место. Потом владельцы черных сапог о чем-то оживленно заговорили с мамой. Слово «юде» больше не звучало. Затем обе пары сапог развернулись на каблуках (Хаймеку это хорошо было видно) и двинулись в сторону черной машины.

Мама снова опустилась возле папы, поставила Ханночку на дорогу и попыталась перевернуть скорчившегося мужа. Папа громко застонал.

– Яков, – сказала мама негромко, но настойчиво. – Яков! Немцы хотят, чтобы мы затолкали их машину наверх. Они не могут ее завести.

Папа попытался встать. Потом он попытался встать еще раз. Немцы стояли, опершись на машину, и курили.

Папа застонал и стал на колени. Уперся руками в землю. Тело его не слушалось. Но он был сильным, папа Хаймека. Раз за разом, упираясь руками, он делал попытки распрямиться, и так же, за разом раз падал лицом в песок обочины. Хаймек подполз к отцу. Папа оперся на мальчика. Он был очень тяжелым. Лицо у него было разбито и все в крови. «Когда я вырасту, – подумал Хаймек, – обязательно заведу себе такую же форму, как у этих немцев. Надену блестящие черные сапоги, и все будут слушаться меня. Даже папа».

Папу ему сейчас было жалко. Немцы ранили его. А вдруг он умрет?

Папа закашлялся и выплюнул на дорогу огромный сгусток крови. Еще раз оперся на мальчика. И встал. Он стоял и шатался. Немец что-то крикнул ему. «Шнель! – разобрал Хаймек. – Ду, юде...»

Папа двинулся к машине. Его шатало со стороны в сторону. Немцы смотрели на него с безразличной улыбкой. Потом они забрались в машину...

Машину толкали все – папа, мама, бабушка и Хаймек. Время от времени один из немцев, тот, что сидел за рулем, оборачивался и нетерпеливо кричал: «Шнель... шнель!» Хаймек старался изо всех сил, намертво вцепившись в металл автомобиля, ноги его то проскальзывали, то застревали меж камнями. «Вперед, – уговаривал он сам себя, – еще, еще, еще немножко. Еще чуть-чуть и они затолкнут машину на верхнюю точку пригорка, а уж вниз немцы как-нибудь да съедут».

Рядом с Хаймеком толкал машину его отец. Толкал, натужно дыша, толкал и стонал, сплевывая кровавую слюну. Он упирался в машину плечом, упрямо переставляя непослушные, подгибающиеся ноги. Время от времени он хрипел: «Ну, еще... ну, дружно, вместе – о-оп!» Бабушка толкала машину двумя пальцами, похоже, ее мучил какой-то вопрос. Даже маленькая Ханночка играла в эту непонятную игру взрослых – она семенила возле мамы, держась за сверкающий на солнце бампер. «Когда я стану большим, – в который раз пообещал себе Хаймек, – я стану немцем. Буду сидеть в красивой черной машине и кричать на людей, которые станут ее толкать. А я буду сидеть и крутить руль».

Внезапно бабушка перестала толкать, выпрямилась, ошеломленно огляделась вокруг и, упревая руки в бока, громко спросила:

– Дети мои... в чем дело? Почему вы помогаете этим необрезанным? Стоп! Пусть они сами, если им это нужно, толкают свою машину. А мы, дочка, прямо сейчас пойдем домой.

«С бабушкой не все в порядке», – вспомнил Хаймек папины слова, сказанные как-то маме вполголоса. И мамин ответ: «Пожалей ее, Яков. Боюсь, что она уже многого не понимает».

Так или иначе, но на бабушкины слова никто не отозвался. Даже мама. Плечом и одной рукой она продолжала толкать машину, а другой придерживала Ханночку. До вершины взгорка оставалось совсем немного.

– Что за глупые игры вы затеяли, – голос бабушки доносился уже сзади. – Разве я не знаю, что такая машина может двигаться сама по себе? Бросьте ее, дети. Бросьте и пойдемте домой...

Но и на этот раз на бабушкин призыв никто не ответил. Тогда бабушка воззвала к своей дочери:

– Доченька! Ты что, хочешь, чтобы я умерла во время этой прогулки?

– Если ты сейчас не замолчишь, – обернувшись, сказал бабушке Хаймек, – немцы сейчас перебьют нас всех.

– Что еще за глупости говорит твой мальчик? – не умеряя голоса закричала бабушка. – Нет, ты слышала, доченька, что он мне сказал? «Они нас перебьют». Как это может быть? Перебьют. За что? Разве они не люди?...

Если бы этот вопрос был бы адресован Хаймеку, он не знал бы, что ответить. Но и остальные, похоже, не знали. Но если бы даже и знали – у кого, скажите, остались силы чтобы отвечать? Все хрипло и прерывисто дышали, толкая черную машину из последних сил. Что же касается Хаймека, то и последние силы у него закончились. Ноги и руки были налиты свинцом. Он повернулся и стал давить на машину спиной. Под ногами у него уходила назад дорога. Но боже, как медленно она двигалась! «Проклятая машина, – с отчаянием думал он, глядя на неподвижный горизонт. – «Проклятая немецкая машина... Сколько нам еще нужно будет ее толкать! И что с нами будет потом, когда мы затолкаем ее на самый верх? Наверное напоследок немцы захотят кого-нибудь убить. Но кого? Скорее всего папу. Но почему они вообще убивают?»

И тут он опять – в который раз за последнее время – подумал о лестнице Иакова, по которой можно было бы добраться до самого неба. «Интересно, а на небе тоже есть немцы?» – подумал мальчик. Если бы сейчас, вот в эту минуту, спустилась бы лестница с неба, он попросил бы архангела Гавриила, чтобы он всех их – без немцев, разумеется, взял бы с собой на небо. До тех пор, пока не закончится война. Чем толкать эту проклятую машину, мы лучше помогли бы архангелу управляться с этой лестницей. Смотрели бы сверху на землю, как там и что. И

если бы увидели, что в каком-то месте на земле евреи толкают в гору немецкую машину – тут же спустили бы лестницу и забрали бы наверх всех женщин, стариков и старух. И, конечно, детей. В один миг – р-раз – и наверх. И нет их. А машины пусть катятся, куда хотят...

Мальчику вдруг пришло в голову, что он еще ни разу не видел мертвого немца. Немца, который не может двинуть кого-нибудь в бок своим блестящим сапогом. Хаймеку показалось, что он произнес это вслух, и он задрожал, забыв даже, что он не говорит по-немецки. Хотя кто знает – если можно понять слова, произнесенные на одном языке, может быть есть люди, то есть немцы, понимающие идиш, как его мама понимает немецкий. И если он произнес то, что было у него в мыслях, вслух...

Тут голова его ушла в плечи и он с удвоенной силой стал упираться ногами в дорогу.

Солнце уже стояло в самом зените, когда они, наконец, одолели проклятый подъем. Здесь, на взгорке, дул сильный, пронизывающий насквозь ветер. Он запутывал длинные мамины волосы, он разбрызгивал капли крови, вырывавшиеся из папиного горла, он норовил сорвать бабушкин чепчик вместе с париком... но как приятно охлаждал он пылавшее лицо Хаймека...

Один из офицеров привстал в машине и что-то прокричал. Все посмотрели на маму.

– Еще усилие, – сказала мама хрипло. – Надо их дотолкать...

– А что они сделают с нами потом, – подумал Хаймек.

– Ну, – скомандовал папа. – Чтоб они оказались в аду – Раз.

– Два...

– Три!... – Машина поддалась неожиданно легко. Набирая скорость, она покатила под уклон, смешно чихнула... заглохла... чихнула еще раз. Из выхлопной трубы вырвался синий дым, ровно и мощно заработал двигатель и спустя какое-то время до них донеслись слова: «Ауфидорзеен, юден!» «Евреи, до свиданья...»

И это было все.

Минуту или больше мама с папой глядели друг на друга с непередаваемым выражением, потом папа поднял глаза к небу... и опустил их. Тело его содрогнулось от страшного кашля, на губах запузырилась кровавая слюна. Папа вытер рот платком, посмотрел, аккуратно свернул платок и сунул его в карман. После чего вздохнул и сказал:

– Пошли дальше...

– Да изгадятся их имена, – закричала бабушка, глядя в ту сторону, куда скрылась машина с немцами. – Ведь это же не люди...

Она не закончила своего проклятья, и Хаймек так и не узнал, к кому оно относилось – к немцам или к папе с мамой, которые никак не хотели прислушаться к ее советам.

2

До конца дня они все шли и шли. Хаймек шагал рядом с папой. Иногда бок о бок, а иногда отставал и плелся следом. Чувство голода постоянно терзало его даже после нескольких ложек того варева, что накануне приготовила мама из каких-то стеблей, корешков и листьев.

Ближе к вечеру они заметили одинокую брошенную избу с покосившейся до земли соломенной крышей. Они поспешили к ней.

Изда была пуста. Лишь крохотный котенок обессилено мяукал, лежа под огромным столом – единственной мебели в единственной комнате. Хаймек рухнул прямо на деревянный пол и начал растирать свои распухшие и израненные ноги. Не переставая подвывать, котенок пополз к нему. Теперь мальчику казалось, что этот жалостливый непрерывный стон издают его собственные ноги.

Котенок был похож на ободранный и выброшенный за ненадобностью башмак. Его светящиеся в темноте зеленоватыми искорками глаза покорно смотрели на мальчика. Хаймек про-

тянул руку и стал гладить котенка по облезшей шкуре. Пощекотал живот, потом шею, почесал за ушами. Котенок благодарно урчал, закрыв глаза. «Ему, наверное, было страшно здесь одному», – подумал Хаймек.

Котенок подполз еще ближе, и шершавым красным язычком лизнул мальчику палец. Сделав еще усилие, он перебрался Хаймеку на ладонь, и снова стал смотреть фонариками зеленых мерцающих глаз. Хаймеку казалось, что в них он видит собственное отражение.

На небе угасали последние лучи заходящего солнца. Котенок, свернувшись на ладони Хаймека, тихо урчал. Наверное, мальчик задремал. Во всяком случае, он не заметил отца, и вздрогнул, когда тот потряс мальчика за плечо. Папины глаза были черными и блестящими, и в них, как в черном зеркале отразился Хаймек. «Странно, – подумал он. – Мы как будто всегда жили вместе. Как одна семья – папа, я и кот». Он хотел поделиться этой своей мыслью с папой, но тот, положив ему на плечи костлявые бледные руки, опередил сына.

– Я вижу, ты думаешь об этом коте, – сказал папа. – Настолько, что ты забыл прочитать вечернюю молитву. Это плохо. Когда человек забывает о Торе, Тора пропадает. А когда Тора пропадает, вместе с ней пропадает и образ Бога.

Мальчик подумал, что слова эти обращены папой скорее всего самому себе. Словно пробудившись ото сна, папа добавил:

– Тебе нужно поскорее лечь и уснуть. Завтра нам предстоит утомительный и тяжелый день... надо набраться сил. А теперь – прочитай молитву «Шма», сынок...

– «Шма» – с готовностью начал Хаймек... начал, и остался с открытым ртом, потому что в это же мгновение котенок на его ладони дернулся, вздыбил шерсть, и в глазах его сверкнул ужас. В несколько прыжков он добрался до окна и выпрыгнул наружу. Еще один, последний, душераздирающий вопль донесся из темноты – и все замерло.

– «Шма, Израэль»... – во второй раз начал Хаймек, но видел перед собой он не божественный образ, а отчаяние в кошачьих глазах. Это выражение потерянности и страха... он тоже его теперь нередко испытывал. И, вспоминая об этом, Хаймек чувствовал, как что-то поднимается к горлу, перехватывая дыхание, щекочет в носу и вызывает на глазах слезы.

– «Шма, Израэль», – сделал Хаймек еще одну попытку, и эхом отозвался рядом отцовский голос, подхвативший то, что пытались произнести шевелящиеся губы Хаймека, в то время, как блестящие черные глаза отца с тревогой вглядывались в лицо сына, как если бы жизнь их обоих зависела от слов, которые застряли у мальчика во рту.

– «Шма, Израэль...» – в который раз начал Хаймек, и в который раз не смог продолжить. Все перемешалось у него в голове: мерцающие прозеленью кошачьи глаза и черные глаза папы, сверкание черных голенищ, немецкие сапоги, пинающие его папу в бок, брызги крови из папиного рта, снова черные сапоги, и тут же – бабушкин чепец, съехавший набок. К этому добавились еще их картины былой жизни дома, затем их скитания по бесконечной дороге...

Но нет, слова молитвы не появлялись. Хаймек посмотрел по сторонам, словно желая определить, с какой стороны придет к нему помощь, но молча стояла бабушка, держа в руке горевшую свечу. И молча стоял папа, опершись на угол стола: плечи сгорблены, голова опущена, губы шевелятся и весь он стал внезапно очень-очень похож на бабушку. В горле у мальчика было совсем сухо. Одними губами он попросил: «Боже, напхни мне, пожалуйста, молитву «Шма». Ради папы. Ради бабушки. Пожалуйста. Я очень-очень тебя прошу».

И вдруг он услышал голос. Это был голос его отца. Но каким же он был ясным! Ясным, чистым. И таким сильным, что от этого голоса, казалось, едва не погасло пламя свечи... более того, мальчику показалось, что задрожали даже стены дома.

– Барух Ата Адонай Элохейну Мелех хаолам...⁷

Голос папы прервался на мгновенье, после чего загремел с новой силой:

⁷ Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной... (*иврит*).

– Мелех неэман. Шма, Исраэль, Адонай – Элохейну, Адонай – эхад!⁸

Папа еще не произнес последних слов, как Хаймек стукнул себя кулаком по лбу:

– Ну, конечно!

Да, да. Конечно же. Вот они, эти слова. Конечно же, он знал их, эти замечательные, поистине великие слова. Ведь даже за свою короткую жизнь сотни и сотни раз повторял он их. Он снова посмотрел на то место, где со свечой в руке стояла бабушка. Он должен сказать ей, что ничего не забыл, что он знает, хорошо знает эту молитву...

Но бабушка исчезла. Вместе со свечой.

Хаймеку стало как-то не по себе. Он забрался под стол и почувствовал себя в укрытии. Свеча, стоявшая теперь на столе, давала тусклый свет, которого недостаточно было, чтобы осветить всю комнату. Во всяком случае, под столом было совсем темно. Хаймек подумал, что именно темнота и послужит ему защитой, и что здесь Господь его не достанет. Он знал, что Бог сердится на него за то, что он забыл слова молитвы. Но стол – он был такой большой! Такой надежный... Его крышка остановит любую бомбу.

Подумав так, Хаймек почувствовал себя уверенней. Он потрогал ножку стола. Дерево было шершавым и на ощупь очень твердым. Да, вот уж стол так стол! Надежное убежище от всех бед. Не то, что песок на обочине дороги, где они все не так давно прятались.

Со вздохом облегчения Хаймек вытянулся, подложив руки под голову, и лежал так, в пол-уха прислушиваясь к разговору папы с мамой между собой.

И вдруг сомнения снова нахлынули на него. А что, если он защищен этим замечательным столом недостаточно? Тот немец – ну, тот, что пинал папу своими начищенными сапогами, ведь он может добраться и досюда. И тот, что там, дома, стрелял в папу из пистолета... как и любые другие немцы в таких или этаких сапогах?

Нет, вся надежда была на стол.

Хаймек осторожно провел ладонью по слоноподобным ножкам этого сооружения. Они были невероятной толщины. Они стояли, упершись в пол так тяжело и прочно, что никакая сила была не в состоянии с ними справиться. Обеими руками он попытался сдвинуть стол с места, но стол, похоже, даже и не заметил этой попытки. Да, с такой крепостью не справиться никакому немцу на свете. И даже все им вместе не справиться.

Вокруг мальчика стеной стояла темнота. Хаймек пальцами пощупал ее, как его папа на глазах у клиента ощупывал ткань, определяя ее качество. Лучше не бывает, как сказал бы папа. Ладонью, словно мастерком, мальчик разгладил темноту, а потом взял шпатель и заделал даже самые маленькие щели. Так же аккуратно обработал он потолок и все стены. Закончив работу, он снова устало вытянулся на полу. Сквозь защитную стену темноты усыпляюще доносились до него голоса взрослых. Мама что-то выговаривала папе. Папа коротко отвечал.

Глаза у мальчика стали закрываться, губы раздвинула улыбка. Ему было спокойно и хорошо. Как из другого мира доносились до него слова, произнесенные маминым голосом:

– Чтобы сварить картошку, нужны дрова.

И мальчик почувствовал в руке обжигающую тяжесть только что сваренной картофелины. Лучшей еды в мире в эту минуту не существовало. Если еще присыпать ее щепоткой соли... Превозмогая себя, он очнулся и вылез из-под стола. В эту минуту папа, почесывая лоб, обводил взглядом комнату. Посмотрел, покачал головой...

Он все еще качал головой, когда бабушка, решительно, как всегда, сказала:

– Дрова? Зачем нам дрова. У нас есть вот этот стол...

От неожиданности, мальчик онемел. Стол? Что бабушка хочет этим сказать?

– Мы сожжем стол, – сказала бабушка, словно подслушав мысли мальчика. – Если, конечно, Яков сумеет его разрубить.

⁸ Бог – царь верный. Слушай, Израиль, Господь – Бог наш, Господь один! (*иерит*). «Шма» – основная еврейская молитва.

У мальчика сердце забилося так, как никогда еще не билось. Сжечь его стол? Его крепость, его укрытие? Он, кажется, даже перестал дышать. Застыл в напряженном ожидании. Что будет делать папа?

Папа продолжал сидеть, как и сидел. Он раскачивался. Возможно, он читал соответствующую молитву. Мальчик чуть-чуть успокоился. Похоже было, что слова бабушки не привлекли папиного внимания. Это хорошо. Это правильно. А бабушка... недаром Хаймек подслушал как-то разговор папы с мамой о том, что у бабушки не все в порядке с головой, и что у нее, как выразился папа, «совсем запутался ум». Очень может быть, подумал Хаймек. Это надо ж, придумать такое. Сжечь мой стол! Мальчик ничего подобного не мог себе представить. Не мог представить, что папа с мамой согласятся на это.

На всякий случай он посмотрел на родителей. Они о чем-то шептались, наклонившись друг к другу. «Не делайте этого», – безмолвно попросил мальчик. И тут мама сказала:

– На дворе ночь. Ничего не поделаешь, Яков. Мама права. Если ничего не найдем, придется разрубить стол. Ты сумеешь, Яков?

– Да, – сказал папа. – Надо покормить детей.

Этого мальчик не ожидал. Его умная мама! Конечно, есть так хочется. Но как же она не понимает, что существуют вещи поважней еды. А что, например, они, все они, станут делать, если налетят вдруг немецкие самолеты и начнут их бомбить? Где они тогда спрячутся, если стола уже не будет? А если здесь появится давешний немец со своим пистолетом, тот самый, который стрелял в папу? Где тогда сможет Хаймек укрыть всю семью? Только за стенами из темноты, которые опираются на толстые, слоноподобные, похожие на тумбы ножки этого замечательного стола. А если стол разберут на дрова для того лишь, чтобы наварить картошки? Да он уже не хочет никакой картошки. Он теперь весь поглощен картиной, от которой его бросает в дрожь: он снова видит руку, которая тянется к кобуре. Затем видит руку с зажатым в ней пистолетом, вот она появляется дважды – один раз из-за входной двери, которая болтается на ржавой петле, и еще раз – сквозь разбитое окно. Или из закопченной печи?

Папа и мама... что теперь будет с ними, когда стола уже нет? Вот он видит их. Видит как они бегут, мечутся, ища укрытия и не находя его. У папы бледное-пребледное лицо, глаза закрыты, а руки судорожно ощупывают стенку. В маминых глазах сверкают молнии, а губы непрерывно произносят: «Где укрыться? Где укрыться? Где...»

Но стол-то пока еще цел! И, выскочив из-под него между ножек, Хаймек кричит изо всех сил:

– Сюда! Сюда!...

В себя он приходит, оказавшись лицом к лицу с бабушкой. Она смотрит на него каким-то странным взглядом. И сама выглядит как-то странно. Никогда прежде Хаймек не замечал, что у бабушки под глазами такие мешки, откуда глядят на Хаймека маленькие неподвижные глазки. Да и все лицо у бабушки как-то внезапно оплыло и одрябло и вместе с тем стало странно неподвижным. Двигались на этом лице только тонкие губы. И уголок ее рта, кривясь в каком-то подобии жуткой улыбки, произнес:

– Мне кажется, что у нашего Хаймека что-то случилось с головой...

Услышав это, Хаймек чуть не расхохотался. Это надо же! Ведь совсем недавно эти самые, буквально, слова, только о самой бабушке, говорил папа. И говорил это маме! Тут Хаймек перестал обращать на бабушку хоть какое-либо внимание и повернулся к ней спиной. После чего сказал маме, которая чистила картошку, сидя на лавке. Говорил он горячо и очень убежденно.

– Мама... слушай... Этот стол... он послужит нам убежищем. Нет, правда...

Не поднимая глаз от картошки, мама сказала ему, измученно улыбнувшись:

– Еще не создана крыша, способная защитить нас... А если и была такая, ее уже больше нет.

– Нет, мамочка, не говори так... Есть разные крыши. Вот одна из них и стоит посредине комнаты. Нет, ты посмотри только на эти толстенные ноги...

– Хорошо, хорошо... Ложись, сынок, и отдохни с дороги, – сказала мама. И, повернувшись к папе, добавила:

– Ну, давай, Яков. Не теряй времени. Подумай, как лучше разобрать этот стол...

Приткнувшись в углу, мальчик закрыл глаза и увидел четыре огненных столба на месте четырех ножек. Языки пламени высвечивали покрытые трещинами стены, разбитые окна и огромную печь с отверстием посередине, открытым, как бабушкин рот, когда она спит. А языки пламени все выше и выше... они уже облизывают потолок, пробираются внутрь соломенной крыши и выходят сквозь нее в виде огненных языков, устремленных в небо. А на небе уже – они. Немцы. Вид у них такой же, как тогда, на рыночной площади, когда они в лепешку раздавили кота. На головах зеленые каски, лица неразличимы в темноте. За квадратными плечами – походные ранцы. Порывы пламени выхватывают из темноты их рты. Немцы не то жуют что-то, не то кричат. Все это сопровождается ворчанием грома. Гром приближается. Он все ближе и ближе. Он что-то говорит. Проваливаясь в сон, мальчик, наконец-то различает слова, которые непрестанно повторяют рты под зелеными касками:

«Вам всем ка-пут...»

3

Похоже, что Господь услышал тайные молитвы Хаймека. В Черностоке его бабушка умерла. Если это было наказанием, то совершенно справедливым. Ведь это из-за нее сгорел в огне замечательный стол Хаймека. И с того самого вечера любовь к бабушке покинула его душу. А на месте былой жалости, любви и сочувствия поселились раздражение и гнев, похожие на ненависть. Отныне каждое слово, даже просто звук бабушкиного голоса вызывали в нем вспышки гнева. Он возненавидел ее бесконечные призывы к возвращению домой. А уж когда она начинала угрожать всем им, когда пронзительным своим голосом кричала: «Вот только вернемся домой, вы все у меня получите по заслугам», Хаймек просто кипел и в душе желал старухе самого худшего. А если припомнить другие ее угрозы – написать, к примеру, сыну в Эрец Исраэль, или другим детям, живущим в Америке... если сложить все эти угрозы, все эти жалобы и стоны с проклятиями, на которые она тоже не скупилась, и добавить, что все это повторялось не по одному, а по десятку раз в день – о какой жалости, о каком сочувствии могла идти речь? А потому, когда она жаловалась на плохое самочувствие («Ой, Ривочка, ох, доченька, что-то мне нехорошо, у меня болит сердце, очень болит»), никто не обращал на эти жалобы и стоны никакого внимания, считая их чистым притворством.

А она взяла и умерла. Мальчик смотрел не ее застывшее навсегда лицо, и никак не мог решить, что же ему делать – то ли, из вежливости, жалеть бабушку, то ли радоваться, что она наказана по заслугам.

Она лежала на полу синагоги в Черностоке. Голова ее покоилась на подножье ковчега Торы. Слева и справа от нее повсюду лежали другие люди. Бок о бок лежали они, старые и молодые и совсем еще дети. Некоторые из них были совсем мертвыми, некоторые – не совсем, полуживые. Все эти люди перешли границу и теперь, покинув Польшу, оказались в России. Теперь они лежали на чисто вымытом полу. Над ними был высокий потолок с хрустальными люстрами, свисавшими почти до земли. Живые отличались от мертвых тем, что время от времени стонали и просили пить. У некоторых не хватало сил даже для стонов и все, что они могли, это шевелить пересохшими от жара губами. Несколько человек, сохранивших достаточно сил, чтобы передвигаться, побрели на поиски воды и хлеба. Но подавляющее большинство лежало, не подавая признаков жизни и смотрело молчаливо отсутствующим взглядом в потолок, не издавая при этом ни звука.

Среди всех присутствующих удивительно, даже как-то неуместно живой казалась женщина неопределенного возраста, поразительно подвижная, с изжелта-белым морщинистым лицом, одетая в слишком просторное для нее платье со множеством складок, источавших давно всеми забытый, а потому приятный запах нафталина. Она переходила от одного лежащего на полу беженца к другому, вглядывалась в лицо, которое чаще всего было накрыто неким подобием одеяла или простыни (тогда она сдвигала их) и подносила ко рту или к носу такого человека белое гусиное перо, после чего чаще всего доставала из мешочка, висевшего у нее на руке две медные монетки, которые укладывала на глазницы, после чего снова натягивала простыню. И шла дальше, шурша своими юбками. Так переходила она от одного тела к другому, снова и снова, словно не зная устали, и Хаймеку почему-то казалось, что женщина эта, отходя от очередного покойника, чему-то втайне радуется.

Хаймеку очень хотелось любым образом тоже заполучить две медных монетки. Хватило бы, подумал он, чтобы купить целую конфету.

Он поспешно забрался под одеяло и натянул его выше головы. После чего замер, закрыв глаза. Запах нафталина ударил ему в нос, когда чья-то рука сдернула с его лица одеяло. Здесь ему ужасно захотелось чихнуть, но он затаил дыхание и удержался. «Все получилось!» – подумал он. Но именно в этот момент что-то воздушное коснулось его носа. Щекотка была такой сильной, что он поневоле хихикнул и улыбнулся, но тут же справился с собой и снова застыл. То место, которого коснулось гусиное перо, чесалось и свербело так, что ему пришлось незаметно спрятать руки за спину. Был момент, когда в воздухе исчезли все звуки. Остались только запахи... и еще что-то... какое-то напряжение совсем рядом с ним. Что-то происходило... или вот-вот должно было произойти. Но что?... что?

Это он узнал почти немедленно. Какая-то сила схватила его за ухо и потянула так, словно хотела оторвать это ухо от головы. Это была адская, непередаваемая боль и Хаймек забыл обо всем.

– Ой! – заорал он во весь голос. – Ой-ой-ой! Больно же!

Конечно, при этом он открыл глаза. Над ним склонялось покрасневшее от гнева лицо той самой женщины, от которой пахло нафталином. Белое перо было теперь заткнуто у нее за ухо, словно карандаш у приказчика.

– А теперь, маленький врунишка, объясни мне, зачем ты хотел притвориться мертвым, – закричала она пронзительным голосом, привлекая всеобщее внимание. Чувствовалось, что она оскорблена до глубины души. – Ради кого я хлопочу здесь, скажи мне? Разве не ради таких же, как вы? Так вы в благодарность за это норовите меня обмануть. И как же я должна все это понимать?

«Боже всемогущий! – думал в эту минуту Хаймек. – Эта тетка сейчас оторвет мне ухо. Я уже чувствую, как оно отрывается. Еще немножко, и оно оторвется совсем. Какая боль!»

Несколько человек из тех, что лежали, но еще не умерли, нашли в себе силы подняться на ноги и подойти на крики мальчика. То, что они увидели, вызвало на лицах улыбки, однако вмешиваться в непонятное происшествие никто не стал. Зрителей, тем не менее, становилось все больше. Люди толпились вокруг и молчали, ожидая то ли объяснения, то ли продолжения.

Они дождались и того и другого: женщина, пахнувшая нафталином, кричала сейчас специально для столпившихся зевак.

– Вот вы... и вы... и вы... – Она наугад тыкала пальцами. – Кто вы такие? Вы беженцы, правильно я говорю? Я говорю правильно. Вы пришли к нам из Польши, так? Это так. А теперь скажите мне вот что: мы вас звали? Нет, мы вас не звали, вы пришли сами. Грязные, голые и босые. Голодные и холодные, так? Но вы евреи. И мы, евреи Черностока, принимаем вас так, как положено добрым евреям принимать попавших в беду собратьев.

Для большей убедительности женщина вытянула руку с растопыренными пальцами и начала загибать их, начиная с мизинца.

– Мы отдали вам синагогу, чтобы умирающие могли покинуть этот мир достойно. Это раз (и она загнула мизинец). Мы создали специальный женский комитет, который помогал бы самым нуждающимся. Это два (и тут еще один палец присоединился к мизинцу). Мы нашли женщин-добровольцев в комнату для обмывания ваших покойников – это три! И еще мы наняли носильщиков, чтобы было кому нести на кладбище ваших покойников. Кажется, уже четыре? А если добавить сюда людей из погребального братства, которым мы платим – и платим хорошо, чтобы они хоронили вас так, как полагается быть похороненному всякому еврею. Это уже пять, или я ошибаюсь? А какова при всем этом ваша благодарность? Чем вы платите нам за все это, спрашиваю я?

На глазах у женщины стояли слезы. В какой-то момент Хаймеку казалось, что сейчас она развернется и уйдет вместе с его ухом. Но она не ушла, а продолжила.

– Когда вы появились у нас, я сказала себе: «Вот пришла беда». У евреев из Польши, наших братьев, большая беда. К ним пришла война, и евреи стали беженцами. Так не сиди же дома. Встань и иди им навстречу. Постарайся им помочь. Дома у меня остались дети, и они еще даже не обедали сегодня. Они ждут меня. Ждут, пока я вернусь. Может быть, суп уже выкипел, я не знаю. Я взяла в дом новую домработницу, беженку. Не знаю даже, умеет ли она готовить. Все я бросила и поспешила вам на помощь. И что же получила я взамен?

Она замолчала и обвела всех слушателей взглядом, ожидая ответа. Измученные люди стояли вокруг. Редко у кого на усталом лице кривилась улыбка. Никто не знал, что все они чувствовали в эту минуту. А они видели женщину со сморщенным и возбужденным лицом, которая держала семилетнего мальчика за распухшее ухо.

Мальчиком этим был Хаймек, и ухо было его. Ухо пылало. Лицо горело, только не от боли, а от стыда. Невольно повел он глазами, словно надеясь отыскать щель, куда можно было бы провалиться, но щели такой не нашел. Тогда, преодолевая боль, он попытался вырваться из цепких рук и убежать, куда глаза глядят. Он был уже близок к цели, когда безжалостная рука женщины ухватила его за ворот рубашки.

– Ну, вот, – торжествуя сказала женщина. – Теперь вы видите? Какой ловкий, этот ваш мальчик. Какой шутник, а? Но со мной эти шутки не пройдут, так и знайте. Тоже мне умник нашелся. Накрылся с головой и изобразил из себя покойника. Ну? А когда я беру вот это перо, (она вытащила перо из-за уха и показала всем желающим), да, когда я беру вот это самое перо и подношу к его носу, что же он делает? Он начинает корчить рожи... он начинает мне смеяться. А? Как? Он же умер, он же покойник. По крайней мере, я могла этого ожидать. И вдруг покойник смеется. Что вы скажете? У меня чуть душа в пятки не ушла, я сама могла умереть.

– Это же шутка, – сказал кто-то. – А он – маленький мальчик.

– Шутка? Что это у вас за глупые шутки, евреи? Мы что, играем с вами в разные игры? Я вижу, что вы смеетесь. Вам смешно. А мне совсем не смешно. У меня дома семья, дети не обедали, я их оставила с новой домработницей, я сказала себе – прибыли беженцы, они измучались, они устали, им надо помочь. Никакой корысти. Я поставила суп на плиту, взяла вот это перо...

Стоявшие вокруг евреи не отличались большим терпением. Одно ухо у мальчишки было уже явно вдвое больше другого. То здесь, то там зазвучали голоса.

– Ну, хватит... довольно...

– Женщина, вы можете отпустить парня, он никого не убил.

– Я, – несколько растерявшись, сказала женщина, – я оставила суп на плите...

– Ты это уже нам рассказывала...

– Хватит болтовни, мадам. – С этими словами двое самых решительных зрителей аккуратно подхватили женщину с обеих сторон и вывели (точнее вынесли) за порог синагоги. Картина была довольно смешная, и многие так и не удержались от улыбки. Внезапно всеми овла-

дело непонятное веселье – необходимая человеку разрядка после долгих дней унынья и тревог. Хаймек оказался в центре всеобщего внимания. Кто-то сунул ему в кулак конфету. Улыбок вокруг стало еще больше. Тем, кто подошел позднее, рассказывали о проделке мальчика по имени Хаймек – вон он стоит. Видите, что у него с ухом? Люди подходили к оробевшему Хаймеку, стараясь его – каждый на свой лад, приободрить. Некоторые щипали его за щеки, другие дружески похлопывали по спине и плечам, иные просто щелкали пальцами и приговаривали при этом, недоуменно покачивая головами:

- Ну и ну! Вот так история...
- Ох, ты и озорник...
- Каков шейгец! Проказник, да и только...
- Настоящий шалун!
- Она чуть не оторвала ребенку ухо. Куда это годится!
- Это же надо такое придумать...

Пробиваясь сквозь окруживших Хаймека людей, прибежала мама и бросилась к мальчику. Схватила его в объятия, прижала к себе.

– Эй, люди! Что вам надо? Это мой цыпленочек... У вас, что, нет своих детей? Вот идите к ним, а нас оставьте в покое.

Потихоньку все разошлись. Кроме мертвых. Они остались на полу. Лица их были закрыты.

Потом мама отчитала Хаймека как следует. Но ему не было стыдно за свою проделку. Разве мертвым есть хоть какая-то польза от денег? Очень жаль, что ему так и не удалось обмануть эту, провонявшую нафталином, тетку. Но больше всего в эту минуту он завидовал бабушке. Потому что у нее-то на глазницах уже лежало два, совершенно ей не нужных медяка...

Глава пятая

1

Над рабочим лагерем кружила метель. Они чуть не замерзли, пока добрались до цели. Целью была занесенная снегом площадка.

– Добро пожаловать на «Ивановы острова»! – приветствовал их какой-то коротышка, оказавшийся комендантом лагеря по фамилии Еленин, глядя на толпу дрожащих, ничего не понимающих людей.

Веселый голос коменданта удивил Хаймека. И сам комендант, по крайней мере его внешний вид – тоже. На голове у коменданта лагеря была шапка-ушанка с красной металлической звездочкой посередине. Точно такие же шапки были у тех милиционеров, которые однажды посреди ночи разбудили их, а затем загнали в машину, которая в свою очередь доставила их на железнодорожную платформу, где польских беженцев уже поджидали теплушки. Когда теплушки были забиты до отказа, конвой закрыл двери. И потянулись дни путешествия под стук колес, путешествия неведомо куда. Но не только в вагонах для перевозки скота ехали они, плотно притираясь друг к другу на нарах в три этажа – потом их везли в телегах, прицепленных к трактору и в огромных санях по бескрайнему снежному морю... и снова в вагонах. Это было какое-то бесконечное перемещение во времени и пространстве, конечной цели которого никто из беженцев себе не представлял. Не исключено, что кто-то из взрослых знал, как называется место их будущего поселения, но что из этого? Если же говорить о Хаймеке, то с каждым днем он верил все меньше, что они вообще куда-нибудь приедут.

Комендант Еленин очертил рукой широкий круг, указывая то ли на покрытые пушистым снегом деревья, то ли на крыши шести барачков, более похожих на сугробы. Потом посмотрел на людей, и лицо его чуть смягчилось. В голосе, которым он продолжал свою речь, сквозило сочувствие. Он знал, что большинство тех, кто сейчас, переминаясь с ноги на ногу, стоит перед ним, не доживет до весны. Скрывать этого он не стал.

– Вы, евреи, – сказал он, – вы, евреи, привыкли к теплу. Тут, в Сибири, тепла нет. Особенно зимой. У вас дела серьезные. Или вы привыкнете к сибирскому климату, или помрете. Я сам думаю так, – признался он, – что большинство из вас помрет. Только тот, кто привыкнет, тот и не погибнет, – вдруг вырвалась у него рифма. Рифма ему понравилась. И он, чуть переиначив, повторил ее:

«Если же привыкнете,
То и не погибнете...»

Пустое пространство вокруг повторило, словно передразнивая: «Те-те-те, Те-те-те...»

Папа стоял рядом с Хаймеком, тряс головой, хлопал себя покрасневшими руками и с силой топал ногами, не переставая при этом что-то бормотать. Кому предназначались папины слова, Хаймек не понял. Скорее всего, коменданту Еленину.

– О, да, да, – бормотал папа. – Вы совершенно правы. Конечно, мы привыкнем. «А если не привыкнем, то содохнем, и не пикнем».

Похоже, что рифмой папу было не удивить. Жаль только, что комендант этого не слышал. Подмигнув Хаймеку, папа закашлялся и отхаркнул кровью. На снегу осталось ржавое пятно, точь-в-точь, как на куске сахара, если на него капнуть валерьянкой. Хаймек тем временем во все глаза рассматривал русского коменданта, который, казалось, весь умещался в свои валенки, обтянутые галошами.

– Сибирь! – сказал комендант из своих замечательных валенок, доходивших ему едва ли не до подмышек. – Сибирь, это вам не Польша. А вы здесь не польские паны. Вы – спецпереселенцы, поняли? Вы здесь для того, чтобы работать. А знаете, что это такое – работать? Это значит – валить лес. Это значит – выполнять норму. Кто будет работать честно, будет получать паек. Еду, понимаете? У нас в стране одно правило для всех: «Кто не работает – тот не ест».

Подумав, он снова пошутил в рифму:

– А кому норма не зачтется – тот загнется. – И, очень довольный собой, рассмеялся.

Папа стоял рядом с Хаймеком и непрерывно вертел головой, глядя то влево, то вправо. Хаймек перестал пялиться на валенки коменданта и тоже стал глядеть по сторонам. Но куда бы ни смотрел он, видел одно и то же: деревья, деревья и еще деревья, да еще полоску льда, броней покрывавшего реку, и считанные приземистые бараки с трубами, извергающими черный дым в мрачное беспросветное небо.

– Смотрите, смотрите...

И комендант с явным удовольствием повел рукой в полушубке в сторону бескрайних лесов. – Смотрите. Эти деревья – ваш хлеб и ваша жизнь. Будете валить их всю зиму, а по весне и летом плотами спускать их вниз...

А вот это было уже здорово! Ведь на плоту можно уплыть куда угодно. Можно даже доплыть до тех мест, где в земле прячутся клады золота – вот было бы замечательно найти такой клад! Случись такое, Хаймек в первую очередь купил бы папе валенки – такие, как у коменданта, а Ханночке – масло и свежий белый хлеб...

Тем временем комендант достал из кармана список переселенцев и стал выкрикивать фамилии, распределяя людей по баракам.

Семью Хаймека с несколькими другими определили в один из пустовавших еще и незастроенных бараков, где не было ничего, кроме железной печки, громоздившейся посередине. У печки был длинный черный дымоход, уходивший в потолок, а сама печка была похожа на животное с изогнутым хоботом. Стены барака были сложены из круглых неотесанных бревен, пазы между которыми были забиты сухим зеленовато-желтым мхом.

Мама села на узел с пожитками семьи, огляделась и сказала:

– Ну, вот и все...

Ханночка, путаясь в одеждах, подошла к маме и, уткнувшись ей в колени, заворковала свои «ма-ма, ма-ма...» Тем временем папа помогал будущим соседям вносить узлы и чемоданы. Толстый румяный мальчик (Хаймек уже знал, что его зовут Шлемек) достал из кармана большое яблоко и стал жевать его, хрустя. Хаймек, не отрываясь, смотрел, как яблоко исчезает во рту толстого мальчика. Отец мальчика, такой же большой, румяный и толстый, сказал сыну вполголоса:

– Пересядь куда-нибудь туда, где никто не будет заглядывать тебе в рот...

«Никто», – понял Хаймек, относилось к нему самому. Толстый Шлемек, не переставая жевать, отошел к печке.

У Хаймека рот был полон слюны. Он побрел к своему папе. Он хотел сказать ему, что тоже хочет яблока. Вместо этого он спросил:

– Папа... а кто этот большой человек?

Папа вытер потный лоб и коротко ответил:

– Это господин Давыдович.

– Господин?

– Господин Давыдович. Видишь, у него на шее шнурок? На этом шнурке висит кисет.

– Кисет?

– Это такая торбочка. Мешочек. А в торбочке – бриллианты. Господин Давыдович – известный на всю Польшу ювелир. Теперь тебе понятно?

Хаймек на всякий случай покивал. Но, разумеется, ничего ему понятно не было. Какая связь между мешочком на шее у огромного человека, какими-то бриллиантами и тем, что папа называет его «господином», он совершенно не понимал. На языке у него вертелось огромное количество вопросов, но на этот раз он сумел сдержать любопытство, тем более, что задать свои вопросы он мог только папе. А тот уже снова либо таскал чьи-то узлы и чемоданы, либо заходил в изматывающую душу кашле. Можно, наверное, было задать вопрос-другой маме. Но большую часть времени мама теперь не в настроении и сердится, а в остальное время играет с Ханночкой. Так что Хаймеку только и оставалось, что разглядывать господина Давыдовича из своего угла. Но зато уж тут было на что посмотреть. Никогда еще Хаймеку не доводилось видеть такого огромного человека. Господин Давыдович был похож на библейского великана Ога, царя-исполина из страны Башан. Или на филистимлянина Голиафа. Его необъятные коричневые брюки, натянутые на выступающий вперед необъятный живот, повергали мальчика в ужас. На мгновение он даже подумал со страхом, что при желании господин Давыдович мог бы схватить Хаймека своими толстыми волосатыми руками с закатанными до локтей рукавами рубашки и свободно спрятать его в одну из штанин.

Подумав об этом, Хаймек невольно сделал шаг назад. При этом от смотрел себе под ноги, потому что даже просто взглянуть на чудовищного господина Давыдовича мальчику было страшно. Голос господина Давыдовича гулко заполнял пустое пространство барака.

В то время, как помещение постепенно заполнялось людьми, господин Давыдович, прислонившись спиной к черной печке оглушительным голосом говорил:

– Евреи, слушайте меня. Кто-то здесь должен быть старшим. Если старшего не будет, нам его назначат. Ну и кто это будет?

Чей-то голос произнес:

– Нам не нужен старший. Нам нужны перегородки, чтобы все было, как у людей.

Господин Давыдович сказал:

– Вот и я говорю: «Нужен старший». Я согласен быть ответственным за этот барак. И если вы меня выбираете, я прямо сейчас иду к коменданту, и потребую, чтобы поставили перегородки.

Папа очнулся и тоже подал голос:

– Я что-то не помню, чтобы комендант просил нас выбирать ответственного...

Господин Давыдович посмотрел на папу сверху вниз, как Голиаф смотрел на Давида, и заключил:

– Ну, если ни у кого нет возражений, я иду. – И, подтянув штаны выше пупка, зашагал, переступая через узлы, чемоданы и свертки, в сторону выхода.

– По всему заметно, что мешочек с бриллиантами спрятан надежно, – прокомментировал папа сложившуюся ситуацию. А затем подвел итог, заметив философски: «Музыку заказывает тот, кто за нее платит».

Никто вокруг не сказал ни слова. Люди все прибывали, и узлов было таскать, не перетаскать.

А Хаймек думал о перегородках. Если господин Давыдович и вправду добьется этого, то не видать больше Хаймеку, как толстяк Шлемек вонзает свои зубы в яблоко. И снова его рот наполнила слюна. Яблоко! Хотя бы понять, какое оно на вкус... Сладкое? Или кисловатое?

А люди вокруг тем временем обустроивались на новом месте. Развязывали свои узлы, доставали провизию. Один только вид еды менял выражение их лиц. И лица эти не становились ни лучше, ни добрее. Особенно у одного старика в вылинявшем лапсердаке и шляпе с наушниками – он настороженно оглядывался по сторонам, словно ожидая нападения на свою территорию. Вокруг его соседа сгрудилась большая семья, сидевшая так тесно, что образовался единый круг. Замкнув его, все дружно, как по команде принялись жевать, так что до Хаймека доносилось только всеобщее чавканье и хруст. Они прикрывали еду руками и яростно двигали

челюстями, и уши при этом у них ходили вверх и вниз. На зубах хрустели сухари. Старики и дети, каждый склонялся над своей порцией, отгораживаясь от соседей и всего мира...

Но были и другие.

Те, у кого не было что развернуть.

У кого не было, чем хрустеть.

Даже сухарями.

Эти, другие, сидели молча, переводя взгляд со стен на потолочные балки, а с потолочных балок на пол. В воздухе не было иных звуков, кроме чмоканья и хруста, да еще редких замечаний, которые взрослые делали детям.

«Шмулик, не ешь так быстро...»

«Абраша, не бегай с куском...»

Хаймек смотрел на выгнувшиеся дугой спины, на локти, упершиеся в колени, на двигающиеся непрерывно челюсти и уши.

– Почему у них такие сердитые лица? – подумал он. – На что они сердятся? И на кого? Может быть, они сердятся на меня?

Он хотел, но не мог отвести взгляда от рук, подносящих еду ко рту.

– Хаймек, – услышал он голос отца.

– Да, папа.

– Иди сюда. Некрасиво заглядывать людям в рот, когда они едят.

Хаймек не успел ответить, потому что в эту минуту вернулся господин Давыдович. Потирая руки, он громогласно возвестил:

– Ну, что я говорил! Перегородки таки будут. Будут!

Ночью, когда Хаймек растянулся на деревянном полу, накрывшись папиным пальто, его то и дело будили бубнившие вокруг него возбужденные голоса. Высокие и низкие, спокойные и визгливые, они обсуждали грядущее обустройство. Заключение решение густым басом объявлял господин Давыдович.

– Штарбман! Больше два на два ты не получишь.

Невидимый Штарбман отзывался умоляющим голосом:

– Нас же двое душ и три чемодана...

– Штарбман! Больше два на два ты не получишь.

– Но этого хватит только чтобы лежать, не двигаясь, господин Давыдович... А мы все-таки живые люди! Живые люди...

По тому, как задрожал пол, Хаймек понял, что господин Давыдович встал на ноги. Медленно отделив слова, он процедил:

– Если вам не нравится это место, Штарбман, вы имеете право вернуться домой...

Наступившую тишину разбил одиночный смешок. После чего воздух наполнился гулом, в котором отдельные слова были неразличимы.

К следующей ночи перегородка, доходившая до самого потолка, надежно отделила господина Давыдовича от остальных обитателей барака.

Последующие дни были поистине днями голода. Поскольку работа еще не начиналась, продовольственная пайка переселенцам не выдавалась тоже, и каждый перебивался, как мог – у кого было, что есть, тот ел, у кого еды было в обрез, старался экономить и растянуть то, что было, а у кого не было ничего, сидел в углу или возле перегородки и старался не смотреть в щели, чтобы не видеть тех, кому в жизни повезло больше. Хаймек крошечными порциями откусывал черный сухарь, замоченный в кипятке. Один сухарь на завтрак, один на обед, один на ужин. Между завтраком и обедом, между обедом и ужином он непрерывно думал о еде.

О чем думали остальные – он не знал.

Ханночка перестала ворковать. Она перестала, путаясь в своих мешковатых, ставших ей слишком большими, платицах, бродить от мамы к папе, повторяя свои «ма-ма-ма». Теперь

она молча лежала на деревянной лавке, с каждым днем становясь все тоньше и невесомей, и из груди ее вырывался все чаще пугающий и хриплый кашель.

Так проходили дневные часы. А ночью... а ночью Хаймек тоже думал о еде. Он и ночи ждал с таким нетерпением только потому, что тогда, устроившись на нарах и лежа с открытыми в темноте глазами, предавался грезам о еде.

В эти ночные часы барак, который в обычное время гудел, как улей, был таинственно молчалив, и лишь отдельные глухие голоса и звуки нарушали его плотную тишину. То здесь, то там возникал невнятный шепот; скрипели нары; приглушенно доносились обрывки колыбельной, которой мать укачивала ребенка; по сердитому тону можно было догадаться, что кто-то получал нагоняй. День был прожит, и это было главным. Впереди был еще один день, но что он сулил, было неизвестно. И интересно. Очень. Может быть именно потому еще Хаймек любил ночь. И эти ночные голоса, которые постепенно навевали на него безмятежный покой, давали ему чувство уверенности, которую не мог поколебать даже волчий вой, доносившийся из ближайшего леса, то есть совсем близко.

Он проковырял отверстие в перегородке, отделявшей семью Давыдовичей от остальных обитателей барака. Сквозь это отверстие он мог увидеть огромный ломоть хлеба, который господин Давыдович припасал своему отпрыску, чтобы тому было чем утолить голод в ночные часы после того, как он, пользуясь выражением господина Давыдовича, закончит делать «свои дела».

«Свои дела» наследник Давыдовича делал по ночам довольно часто, и каждый раз компенсировал потраченные силы очередным бутербродом. Старший Давыдович любил говорить с гордостью:

– Мой Шлемек постоянно голоден. Он может съесть целый обед даже ночью...

Это свойство младшего Давыдовича каждую ночь причиняло Хаймеку множество мучительных минут. Он не мог уснуть, пока – в который раз, – не становился свидетелем еженощно повторявшегося действия. Он лежал и грыз воротник папиного пальто, служившего ему одеялом. Он ждал... И дожидался. Вот Шлемек за перегородкой начинал кряхтеть. Потом он спускался вниз. «Делал свои дела» в ведро, которое Давыдовичи держали по столу, после чего ощупью находил свой ломоть хлеба, возвращался на свое место на нарах и, тяжело вздыхая, начинал чавкать.

Только когда в ненасытной утробе младшего Давыдовича исчезал последний кусок и чавканье затихало, Хаймек, проглотив голодную слюну, мог расслабиться. Он тоже вздыхал, вытягивался, вздрагивал... и потихоньку погружался в путанный сон. Видел он, засыпая, всякое. Так, однажды, увидел он, что дыра в перегородке растет у него на глазах, пока не достигла размеров кулака. И тут же, прямо вплотную к ней возник ломоть свежайшего хлеба. Хлеб был белый, какого Хаймек не видел уже давным-давно, а корка была пропеченная и темно-коричневая. Кусок этого хлеба вел себя, как живое существо. Он парил в воздухе, трепеща, словно бабочка, то приближаясь к отверстию в перегородке вплотную, то показываясь на миг в пределах видимости. Дождавшись, пока эта диковинная бабочка не оказалась совсем рядом, Хаймек выбросил руку и попытался ее поймать. Но не тут-то было! Хотя расстояние до добычи было ничтожным, Хаймек с ужасом обнаружил, что рука у него стала настолько короткой, что сделать этого он просто не в состоянии. Он мог, правда, сбросить с себя простыню, которой укрывался и слезть с нар...

– Ты куда, сынок?

Рука отца подхватила его, иначе бы он упал.

– Что-нибудь случилось? – Усталый голос отца был полон, тем не менее, тревоги и заботы.

– Все хорошо, – сказал Хаймек. – Спи, папа.

– И ты спи, сынок...

И Хаймек снова лег. Лег таким образом, чтобы видеть отверстие в перегородке. Оно все еще было большим. Это позволило ему увидеть волосатые руки старшего Давыдовича – он размахивал ими так, словно пытался отогнать кусок хлеба от дыры в перегородке, от которой Хаймек так и не мог отвести взгляда. И видение исчезло. А потом закрылось и само отверстие. И не осталось в мире больше ничего, кроме спящего барака и тоскливого волчьего воя за его стенами. «Если дыра в перегородке появится снова, – решил Хаймек, – я не дам хлебу улизнуть». Спал ли он в эту ночь? Если и спал, глаза его все равно были устремлены в одну точку. Но дыра больше не появлялась. Вместо этого сама перегородка стала вдруг оседать. Ниже... еще ниже. И вот уже можно было различить стоящий в соседнем отсеке у Давыдовичей стол, покрытый белоснежной скатертью, а на нем – две плетеные халы, прикрытые салфеткой. Тут уже Хаймек не стал зевать. Мигом соскочил со своих нар. Еще мгновение – и он, схватив обе халы, вновь оказался на своем месте. И тут же перегородка дрогнула и стала расти. Он попытался задержать ее, но ему это было не по силам. Перегородка стала вдруг такой скользкой, что Хаймеку буквально не за что было зацепиться. И тут немец в коричневой форме вытащил из кожаной кобуры лоснящийся от смазки пистолет и...

– Папа! – закричал Хаймек, просыпаясь, – папа!..

– Что, сынок?

– Там немец...

Папа вздохнул: «Давай, сынок... поспи еще чуть-чуть. С утра нам идти уже на работу...»

Хаймек затих и лежал с открытыми глазами и бьющимся сердцем, вглядываясь во тьму. Он ворочался с боку на бок, он очень хотел спать, но сон ушел и не приходил. А кроме того ему было страшно.

– Что с тобой, Хаймек? – услышал он встревоженный голос матери.

– Я боюсь, мама, – сказал мальчик.

После минутного молчания он услышал:

– И я, Хаймек.

Осторожно, чтобы не разбудить Ханночку, Хаймек сполз с настила, лег рядом с матерью, уткнувшись ей в плечо. Мама лежала на спине и глядела в потолок.

– Деревья, – сказала она неопределенным голосом. – Всюду деревья. Я боюсь их. Боюсь леса. И столько снега кругом... Я боюсь этого места.

– Лес как лес, – сказал сердитым голосом папа. Похоже, что уснуть ему так и не пришлось.

– Однажды он окружит нас со всех сторон, – прошептала с отчаяньем мама. – И мы станем в нем, как звери. Как волки станем мы выть. Как волки... Ох, Яков... спроси у Бога, что за конец ожидает здесь всех нас. Попроси его, пусть выведет нас из этого места, Яков...

Папа ответил не сразу. Он сказал так, словно делился очень большим секретом. Словно открывал тайну.

– Приходу Мессии, Ривочка, всегда предшествуют несчастья. Все, что происходит, надо принимать с любовью. И все будет хорошо.

– Если мы доживем до этого дня.

– Если не доживем мы, – сказал папа, – то обязательно доживет Хаим, наш сын.

Мама плакала, тихо глотая слезы. Мальчик прижался к ней, свернувшись калачиком, и пробормотал:

– А у Шлемика есть хлеб. Много хлеба... и еще есть яблоко...

– Ханночка умирает, – сказала мама.

Теперь сквозь тишину прорывался лишь папин неузнаваемый голос, читавший молитву.

– Если Ханночка уйдет от нас, – сказала мама тихо, но непреклонно, – я уйду тоже.

Папа молился. А Хаймек старался понять, что означают последние мамины слова. Мама хочет уйти вместе с Ханночкой. А как же он, Хаймек? Они что, уйдут, оставив его одного?

– Куда мы идем? – спросил мальчик, поворачиваясь к отцу. – Куда, папа? Мама сказала...

– Никто никуда не идет, – оборвал его папа, повысив голос насколько это было возможно. – С утра все выходят на работу, а потом мы получим еду. И спите уже, спите...

В перегородку грохнули кулаком и разгневанный голос Давыдовича прорычал:

– Эй, вы, там! Вы разбудили своей болтовней моего Шлемека! А ну, тихо! Тихо!

– Чтоб он сдох, этот твой обжора, – прошептала мама. – Пусть это будет Ханночкиным искушением...

– Завтра... все будет завтра, – прошептал ей в ответ папа. И это слово – «завтра» – было последним, что слышал Хаймек перед тем, как провалиться в сон.

2

Ханночка умерла незаметно. Она тихо уснула, закрыв большие глаза и с тех пор больше их не открывала. Папа опустил маленькое тельце, обернутое в белую простыню, в заснеженную ямку. Нельзя было поверить, что этой прелестной, ласковой девочки больше нет. Белая снежная россыпь милосердно приняла ее в свои объятия. Снег слой за слоем ложился в могилку, пока неглубокие ее края совсем не сравнялись.

Папа поднял глаза к запорошенному белизной небу и сказал:

– Благословен праведный Судья...

Он хотел, как то полагалось, возблагодарить Бога, но мама прервала его отчаянным криком:

– Нет! Яков... молчи! Нет никакого судьи. И никакой правды нет тоже!

Она тяжело дышала и лицо ее пошло пятнами. Папа положил свою ладонь на ее тонкое запястье и очень тихо сказал:

– Возвеличится и да освятится имя Господа. Когда хочет – дает Он, когда хочет – забирает обратно. Да будет вовеки благословенно имя его...

Он взял лопату и начал засыпать могилку. Мама схватила его за руки. Она была непохожа на ту маму, которую Хаймек знал. Что-то сломалось в ней с этого дня, какие-то силы вырывались наружу. Никогда уже, – понял Хаймек, – никогда уже не будет она такой, какой была.

Мама держала отца за рукава пальто. Трясла за лацканы. Прижималась к нему и отталкивала его. Она кричала:

– Он дал? Нет! Нет! Это я, я одна выносила ее. Здесь, в моем чреве!

Голос ее был угрожающе низок.

– Вот здесь, во мне впервые шевельнулась она, я чувствовала, как она бьет ножками. Она чуть не убила меня при родах – лучше бы мне не дожить до этой минуты. А потом она вышла на свет божий из моей утробы, и все воскликнули – какая красавица! Она была красавица, да, Яков? Волосы у нее были, как шелк. Зачем она родилась? Почему твой Господь не дал ей пожить? Он дает и берет обратно, да? Так ему захотелось, говоришь ты. А я? Как мне теперь жить? Как, Яков? И ты еще Его благословляешь?

Она упала на могилу, раскинув руки, словно хотела навсегда захватить с собой этот голый снежный бугор.

На этот раз Хаймек понял, что хотела сказать мама. Он недавно узнал тайну появления детей. Узнал, что это не аист приносит в дом младенца и не господь передает его в руки ангела. Узнал он эту тайну от Нехамы, соседки, которая жила через одну перегородку. Она-то и открыла ему этот секрет. Встретив мальчика однажды, она схватила его своими сильными руками, прижала к огромному выпирающему животу и шепотом спросила:

– Ты чувствуешь? Чувствуешь?

В тот раз, донельзя смущенный, он вырвался из объятий Нехамы и убежал, так ничего и не поняв. В следующий раз он увидел ее как-то вечером, освещенную закатными лучами весеннего солнца. Нехама поднималась от бурлящей реки. Она медленно шла по тропинке,

ведущей к барaku, неся таз с мокрым бельем. Шла она осторожно, останавливаясь через каждые несколько шагов. Хаймек увидел ее слишком поздно. Надо было бы сойти с тропы, пропустить ее. Еще лучше было бы куда-нибудь исчезнуть, подумал он. Что-то смущало его в этой женщине каждый раз, когда он перехватывал ее взгляд. И еще этот огромный живот... Вот и сейчас он почувствовал, как весь заливается краской – до самых ушей.

– Подойди ко мне поближе, Хаймек.

Он подошел, глядя в землю.

– Может ты сможешь мне донести белье до барака... – У Нехамы был низкий с хрипотцой голос. В нем Хаймеку чудилась какая-то опасность. Какой-то подвох. Какой – он не знал.

– Я должен, – забормотал он, – я... меня ждет мама...

Нехама смотрела на него своими чуть раскосыми глазами, щеки ее пылали. Она поставила таз с бельем на землю.

– Хочешь потрогать что-то приятное?

Хаймек не успел сказать «нет-нет», как она схватила его за руку и приложила его ладонь к мощной округлости живота. Хаймеку хотелось провалиться сквозь землю от стыда. Он попробовал выдернуть руку, но Нехама была сильнее. «Не двигайся, – сказала она командирским голосом. – Тихо!»

Она задержала дыхание и смотрела на Хаймека сверкающими глазами, которые на ее разбурманенном лице были похожи на драгоценные камни.

– Тихо, – повторила она. – Слушай... чувствуешь?

Хаймек уже собрался было сказать, что ничего не чувствует, как вдруг что-то мягко стукнуло его в ладонь. Что-то, что находилось внутри живота. словно голубь клюнул – так ему показалось. словно голубь... когда он склевывает с ладони зерно или крошки.

Испугавшись, он все-таки выдернул свою руку из ладони Нехамы и убежал. Вослед ему неся ее торжествующий крик:

– Он живой! Он живет! Он будет жить!

Добежав до барака, Хаймек забился в темный угол и заплакал. Плакал он долго. Слезы сами лились из его глаз. Так он сидел, грыз ногти и плакал. Но и сам он не мог бы сказать, почему.

С тех пор, встречаясь с ним, Нехама всегда подмигивала ему, словно у них двоих был свой, никому более не известный секрет. Он боялся Нехамы и не мог не думать о ней. Он провожал ее взглядом, он следил за ней – сидя ли в своем углу, выглядывая ли в окно барака. Возбуждение смешивалось в нем с ощущением таинственности происходящих в этой женщине процессов, того, что свершалось с ней и в ней. Теперь он знал: там, в ее большом животе кто-то был. Кто-то жил. Живое существо. Но как оно попало в живот Нехамы? Из разговоров взрослых он уже понял, что скоро у Нехамы будет ребенок. Но при чем здесь аисты? Аисты и их длинные клювы?

– Девять месяцев... – сотрясаясь всем телом, рыдала мама, раскинув руки на могиле Ханночки. Судорожными движениями ладоней она сгребала только что выпавший снег.

Так она лежала, и слезы успели проделать в белом снежном покрове маленькие проталины. Рыдания то утихали, то сотрясали все ее тело с новой силой. Чистый белый снег мягким пухом оседал на каштановые волосы мамы, на ее вздрагивающие плечи. Хаймек хотел пить. Он высунул язык и стал ловить невесомые снежные хлопья, которые тут же таяли, превращаясь просто в холодную воду. Потом он тронул стоявшего рядом папу за рукав и спросил:

– Папа! А где сейчас Ханночка?

Папа ответил просто:

– Она умерла.

Хаймек свернул язык трубочкой и сказал, причмокнув губами:

– А что это значит – умерла?

– Это значит, что она мертва.

Хаймек повторил это слово, но уже про себя. Мертва. Так. Раввин рассказывал в хедере, что мертвые младенцы попадают прямо на небеса. Минуя всяческие муки. Они не попадают в ад, потому что не успели еще запачкать свою душу грехами. Ангелы плетут колыбели из своих белоснежных перьев, укладывают в колыбель младенца и поднимаются вместе с ним все выше и выше. Хаймек и его друзья по хедеру за неимением перьев делали подобие колыбели, переплетая руки или просто подставляя ладони и усаживали в это сидение кого-нибудь из самых маленьких. Тех, что только-только приступили к изучению алфавита. Однажды у Хаймека разжалась рука, и малыш, которого она поддерживала, шлепнулся о землю задом. Хаймек до сих пор помнит, как он горько плакал, и как вслед за ним разревелись другие малышки. Многие плакали от одного только вида раввина, который приближался к ним, держа в руках ремень... А потом рав говорил им о судьбе мертвых детей – там, в небесах...

А теперь и Ханночка там, среди них.

Мама все обнимала могильный холмик. Худые пальцы ее скребли мерзлую землю. Папа наклонился к маме, тронул за плечи и попытался поднять.

– Ханночка мертва, – мягко сказал он. – Встань, Рива... ты не поможешь ей. Ей сейчас уже хорошо.

Хаймек мог бы это подтвердить. Худенькая, совсем без одежды, Ханночка парила в воздухе. С каждой минутой она поднималась все выше и выше. Лицо у нее было грустное, но она не плакала. И вот что удивительно – у Ханночки не было рук. Вместо рук у нее выросли маленькие крылышки, еще совсем без перьев, как это бывает у цыплят. По правде сказать, пока что эти крылышки имели жалкий вид. Очень, очень медленно уходила Ханночка вверх, болтая маленькими ножками, покрасневшими от холода. Она была совсем-совсем одна в огромном и пустом небе – Хаймек понял, что ангелы, испугавшись холода, от которого могли пострадать их собственные крылья, предпочли перебраться туда, где было много теплее. Должно же было быть где-то такое место – если не земле, так хоть на небе...

На земле же было очень холодно. Очень.

– Холодно, – проговорил Хаймек, втягивая голову в плечи. – Ханночке, наверное, тоже...

– Ей уже не холодно, – сказал папа мальчику на ухо. Но взгляд его был обращен к маме, стоявшей с другой стороны.

Мама смотрела ввысь остановившимся взглядом. На ресницы ей непрерывно садились снежинки, но она ни разу не моргнула. На бровях у нее уже образовалась широкая белая полоса, провалившиеся щеки тоже быстро белели. Мальчик испугался.

– Папа, смотри! Снег не тает на мамином лице... Она не умерла?

Папа тронул маму за подбородок и повернул ее лицо к себе.

– Ривка, – сказал он.

Мама не отозвалась. Она и на самом деле была, как неживая.

– Ривка, – еще раз сказал папа. – Ну, пожалуйста, Ривка. Бедная ты моя... Посмотри на Хаймека. Посмотри на меня. Что делать? Мы не можем умереть по своей воле. Мы должны жить дальше.

Мама сказала медленно, словно пробуждаясь от своего страшного сна:

– Да... Мы не можем умереть. А Ханночка смогла. Ее нет. Ее нет, Яков. Ты не забыл?

– И несмотря ни на что... – сказал папа. Мама нагнулась к Хаймеку.

– Как по-твоему, сынок, Ханночке сейчас холодно?

Хаймек энергично закивал:

– Холодно... я сам видел. У нее замерзли ноги.

– Тогда мы должны надеть ей на ножки шерстяные носочки... те, что я ей недавно связала...

В эту минуту из-за снежной пелены возник комендант лагеря. Одет он был более, чем тепло, а из опущенных и завязанных на тесемки ушей шапки-ушанки выглядывало багрово-красное лицо. Он посмотрел на холмик, уже почти совсем занесенный снегом, посмотрел на родителей Хаймека и на него самого и пробормотал:

– Ну вот... уже добралась до вас косая... Тут у нас это быстро... придется привыкнуть Тут уж ничего не поделаешь. Это у нас так... запросто... Как ты сам давеча сказал, Янкель? Кто с силами не соберется, тот быстренько загнется... Смешной вы народ, евреи. Смерть ходит рядом, а вам бы все посмеиваться. Ну-ну...

И комендант рассмеялся, хотя веселья на его лице не было. Рассмеялся и стукнул папу по плечу огромной рукавицей, подшитой синим брезентом.

Глядя на этого неугомонного коротышку, поневоле улыбнулся и Хаймек. Только сейчас ему пришло в голову, что комендант похож на снеговика. Его запросто можно было представить рядом с баракom, на опушке леса. Ну и, конечно, правильно, что на ушанке у него красная звездочка – только так его и можно отличить от других заключенных. Комендант, отсмеявшись невеселым смехом, сделал строгое лицо и сказал:

– Ну... вот... Будет вам торчать на морозе. Ползите в барак и отогрейтесь хорошенько. Посмотри на свою жену, Янкель. Еще немного и тебе придется копать еще одну могилу... ну, это я шучу. Но вас привезли сюда не для того... не для того.

– Я не пойду, – тихо сказала мама. – Зачем мне греться? Ханночке ведь тоже холодно...

Комендант каким-то образом понял смысл сказанного мамой. Лицо его, и без того красное, покраснело еще больше.

– Глупости, – сказал он сердито. – Глупости. А теперь, евреи, слушай мою команду! Марш в барак. Это приказ! Если через пять минут вы еще будете здесь торчать, прикажу спустить собак. Ишь, какие!

«Вот теперь он и вправду похож на начальника лагеря», – подумал Хаймек. – Кричит, по крайней мере, как настоящий начальник».

И он вспомнил о немцах. Те умели кричать.

Мальчику не хотелось в душный барак. Ему было жалко оставлять без снеговика лесную опушку. Ему было жалко маму, у которой почти заledenело лицо. Ему было жалко оставлять в холодной земле маленькую ласковую Ханночку.

Медленно, очень медленно возвращались они в барак, по колена проваливаясь в холодный снежный пух, чья ослепительная белизна только подчеркивала грязный цвет их собственной одежды, покрытой многочисленными заплатами. На полпути к бараку Хаймек оглянулся, пытаясь взглядом отыскать холмик, под которым навсегда успокоилась маленькая еврейская девочка по имени Хана. Его сестра. И он увидел его. Крошечный, совсем неотличимый на фоне соседних сугробов бугорок. Он показался мальчику почему-то округлым и даже уютным. «Он похож на живот Нехамы, – пришла ему в голову странная мысль. – Очень похож...» Только в животе у Нехамы пряталось что-то живое, а Ханночка была мертва...

Глава шестая

1

Дедушка Ихиель восседал на бревне, опираясь на костыль. Как всегда он был на что-то сердит и ворчал, а потому Хаймек решил, что старика лучше обойти стороной. Но не тут-то было. Старик заметил мальчика и решительно поманил его пальцем. Ослушаться Хаймек не решился. Когда он подошел вплотную, дед Ихиель показал корявым пальцем на бараки и спросил:

– Скажи мне... знаешь ли ты, из чего построены эти сараи?

– Из деревьев?

– Правильно. А до того – что, по-твоему, было на этом месте?

Немного подумав, Хаймек догадался:

– Тоже деревья.

Сердитый старик запустил пальцы в бороду и несколько раз кивнул. Потом оперся на свой суковатый костыль, поднялся и побрел – маленький, сгорбленный, полный недобрых пророчеств, которых он и не думал скрывать.

– Конеч... всем нам будет конец... здесь мы помрем, здесь будем похоронены... наша вина... да, да, нам не очиститься от нее. Эти деревья – дело рук Творца. Господь создал их, чтобы они стояли вечно. Кто истребляет дело рук Господа – виновен. Его ждет собственная погибель. Мы виноваты... вина ложится на нас... на детей наших... это так. Ибо сказано: «отцы ели кислый виноград, а у детей их – оскомина на губах».

И действительно – куда бы ни обращал Хаймек свой взгляд, всюду видел он деревья, приговоренные человеком к смерти. Иногда мальчику казалось, что он живет в сказке среди огромных великанов, и исполины эти, одетые в броню из древесной коры, взяли его в плен, окружили со всех сторон и сторожат, расставив длинные зеленые руки. Некоторые деревья были старые-престарые, некоторые еще только тянулись вверх, но и тех и других ожидала одинаковая участь – пасть на землю от пил и топоров заполнивших «Ивановы острова» пришельцев, не ведавших жалости. С ранней весны и до поздней осени сражались эти согнанные отовсюду пришлые люди с природой, вонзая отточенные лезвия топоров в живую плоть деревьев, подрубая корни, распиливая стволы и под конец отсекая ветви. Деревья сопротивлялись, как могли, время от времени нанося врагам ощутимый урон. Иногда они падали на своих мучителей, ломая им кости, иногда дело заканчивалось сломанной рукой или выбитым глазом. Эта нескончаемая битва продолжалась уже давно, и конца ей не было видно. Иногда в войне наступал перерыв, но рано или поздно люди снова принимались за свое и, поплевав на ладони, брались за рукоятку пилы или топоры, чтобы продолжить то, что на сухом языке официальных сводок называлось «лесозаготовки».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.